

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Повести



Михаил Салтыков-Щедрин
Повести

«Public Domain»

1856

Салтыков-Щедрин М. Е.

Повести / М. Е. Салтыков-Щедрин — «Public Domain», 1856

«...Поистине, я нахожусь в решительном затруднении перед вами, читатель. Конечно, я много слышал о вашей снисходительности и благосклонности к пишущей братии, но, вместе с тем, видя литературу, наводненную отсюда повестями с так называемыми занимательными сюжетцами, я сильно боюсь за мою нехитрую повесть. Я сам согласен, что гораздо лучше было бы, если б и за завтраком – шипучего, и за обедом – шипучего, и за ужином – тоже шипучего; но в том-то и сила, что такое радостное положение вещей является только в виде исключения, и то весьма и весьма редкого, а в действительности-то люди большею частью обходятся не только без шипучего, но и без обеда... Что же мне делать? как выйти из затруднительного положения? Решительно, остается одно только утешение – надежда на добродушие и снисходительность вашу...»

Содержание

ПРОТИВОРЕЧИЯ	5
ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ОТ НАГИБИНА К г. NN	7
ОТ ТОГО ЖЕ К ТОМУ ЖЕ	10
ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА ТАНИ	16
ОТ НАГИБИНА К г. NN	21
ОТ ТОГО ЖЕ К ТОМУ ЖЕ	27
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА ТАНИ	31
ОТ НАГИБИНА К г. NN	37
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА ТАНИ	40
ОТ НАГИБИНА К г. NN	46
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Повести

ПРОТИВОРЕЧИЯ ПОВЕСТЬ ИЗ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

(В. А. Милютину)

Natura duce utendum est: hanc ratio observat, hanc consulit idem est ergo beate vivere, et secundum Naturam.

Seneca. De vita beata, cap. 8.

[Надо пользоваться и руководствоваться законами Природы: ее созерцает и с нею советуется разум; следовательно, жить счастливо – значит жить согласно с Природой.

Сенека, О счастливой жизни, гл. 8 (лат.)]

ПРЕДИСЛОВИЕ

Поистине, я нахожусь в решительном затруднении перед вами, читатель. Конечно, я много слышал о вашей снисходительности и благосклонности к пишущей братии, но, вместе с тем, видя литературу, наводненную отвсюду повестями с так называемыми занимательными сюжетцами, я сильно боюсь за мою нехитрую повесть. Я сам согласен, что гораздо лучше было бы, если б и за завтраком – шипучего, и за обедом – шипучего, и за ужином – тоже шипучего; но в том-то и сила, что такое радостное положение вещей является только в виде исключения, и то весьма и весьма редкого, а в действительности-то люди большею частью обходятся не только без шипучего, но и без обеда... Что же мне делать? как выйти из затруднительного положения? Решительно, остается одно только утешение – надежда на добродушие и снисходительность вашу. Разумеется, я мог бы и вовсе не печатать этой повести, но... но – вот видите ли – это «но» еще более увеличивает мое затруднение.

А с другой стороны, трескучие эффекты, кажется, начинают надоедать; балаганные дивертисманы с великолепными спектаклями выходят из моды; публика чувствует потребность отдохнуть от этого шума, которым ее столько времени тешили скоморохи всякого рода, опомниться от неистовых воплей и кровавых зрелищ, которые притупили ее слух, испортили зрение. Все эти соображения, вместе взятые... Но тут перо мое снова отказывается писать, и я поневоле нахожусь в невозможности договорить начатую фразу.

Есть еще одно обстоятельство, которое заставляет меня представить читателю предлагаемую повесть. Человек, в ней действующий, был одним из лучших моих друзей, к которому я немало был некогда привязан. Конечно, это была странная и даже несколько тяжелая, неуживчивая натура, но он сам так глубоко понимал свои недостатки, так много пострадал от них в своей жизни, что нельзя было не сочувствовать ему, не сожалеть об нем. Я давно уже потерял его из виду: где он и что с ним случилось – что до того! Дело в том, что, имея в настоящую минуту в руках своих много бумаг, относящихся до его жизни, большую часть которых составляют его собственные письма, писанные к различным лицам, и изучая на свободе эту личность, я нашел в ней так много примечательного и достойного размышления, что решил представить их на суд публики. Покуда издаю только одну часть этих бумаг; от приема, который они заслужат у читателей, будет зависеть видеть в печати и еще несколько отрывков.

Во всяком случае, слагая с себя всякую ответственность за достоинство и содержание предлагаемых писем, смею уверить, что я в этом случае не более как добросовестный издатель их.

ОТ НАГИБИНА К г. NN

Село Ряплого

И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью.

Вот в каком положении застало меня любезное письмо ваше! Оно, правда, если хладнокровно рассудить, нынче железным стихом никому не угрозишь – не то, что в бывалое время; да уж так, более для метафоры, от безделья с языка сорвалось, да и память незабвенного поэта почтить чем-нибудь надо.

Но письмо ваше – эта юная, благоухающая элегия неопытного сердца – разогнало мизантропическое настроение духа моего, оно напомнило мне лучшие годы моей молодости, те годы, когда сердце человека, полное трепетных предчувствий, полное неясного и несознанного еще будущего, ко всему стремится, все приемлет и жадно ищет предмета, к которому могло бы оно привязаться, с которым могло бы составить одно нераздельное и неслитное целое (в юности бессмыслица позволительна и даже в некоторой степени нужна). Это, коли хотите, довольно неестественное состояние, но тем не менее, полное прелести и обаяния. Неестественно оно, потому что пожирающая нас жажда привязанности не имеет предметом чего-либо действительного, напротив, мы с каким-то презрением отворачиваемся от той среды, в которой живем, и создаем себе особый мечтательный мир, который населяем призраками своего воображения, в котором находим удовлетворение всем лучшим, задушевным желаниям нашим, одним словом, такой мир, где мы волшебники, где по манию нашему являются уставленные яствами столы, являются чудные, светлоокие женщины с распростертыми объятиями, с жгучими поцелуями и неиссякаемую негою в глазах... Вот-с какие удивительные дела наяву нам снятся! Мудрено ли же, что после таких вкусных умственных обедов и не менее вкусных объятий, обед от кухмистера уж и не нравится, а в объятиях какой-нибудь Дуняши (весьма, впрочем, достойной девицы) покажется и тесно и душно. Душа ищет простора и света, а ей дают комнатку в три аршина и окнами на помойную яму, душа хочет сгореть от томления и тоски наслаждения, а ей предлагают весьма умеренную теплоту, градусов в двадцать по Реомюру. Где же тут сгореть, где тут разгуляться? Везде тесно, везде холодно! Конечно, ни гореть, ни гулять не следует, а следует жить и учиться, но, повторяю, все это весьма извинительно в молодости, все объясняется и воспитанием, более склонным к пустой мечтательности, нежели к трезвому взгляду на жизнь, и кругом занятий наших, которые ограничиваются только спекулятивными науками, так что человек, вместо того чтоб изучать науку с начала, изучает ее с конца, а потом и жалуется, что ничего понять не может в этом вавилонском столпотворении.

Такое воспитание совершенно губит нас, истощенных беспрестанным умственным развратом, человек уже теряет смелость взглянуть в глаза действительности, не имеет довольно энергии, чтоб обнажить сокровенные пружины и объяснить себе кажущиеся противоречия ее. Спекулятивные науки напыщают ум человека, делают его скептиком, так что после он уж и хвалится своим скептицизмом, и говорит, что в нем-то весь шик, последнее слово философии. Вот к каким печальным результатам приводит эта милая юношеская наивность, это простодушное стремление любви к чему и как попало, лишь бы любить, а там – хоть пропади и разрушься весь мир.

Но что понятно и извинительно в молодости, то не всегда прилично человеку, хоть несколько вышедшему из пеленок привычки.

Через шесть лет по выходе из школы оставаться все тем же студентом, все тем же пламенным поклонником икса, говорить только о человечестве и забывать о человеке – глупо, не

только глупо, но и подло. Нет! пора пройти периоду животненного развития, пора объяснить себе, что старый жилет все-таки старый жилет – ни более, ни менее, и если был он свидетелем какого-либо мгновения нашей жизни, то совершенно невинно, да и мгновение-то уж давно прошло. Пора нам стать твердою ногою на земле, а не развращать себя праздными создани-ями полупьяной фантазии; пора объяснить себе эту стоглавую гидру, которая зовется действительностью, посмотреть, точно ли так гнусна и неумыта она, как описывали нам ее учителя наши, и если это так, то какие причины этой разрозненности частей целого, и нет ли в самой этой борьбе, в самой этой разрывчатости смысла глубокого и зачатка будущего... Неужели всю жизнь сочинять стихотворения, и не пора ли заговорить простою, здоровою прозою?

Вот и вы, например, любезный друг, настроя лиру свою на тон унылый, негодуете на бессмыслие обстоятельств, поглотивших в себе, как в бездонной пучине, все лучшие свойства человека его способность к самоотвержению, добродетели и любви – и давших развитие одному только чувству эгоизма. Милый мой, вы и не замечаете, что именно вы потому и ропщете, потому и трудно и тяжело вам жить, что нет выхода вашему эгоизму. Хотеть, чтоб человек перестал быть эгоистом, значит хотеть, чтоб он перестал быть человеком, потому что эгоизм, наконец, есть определение человека, сущность его, в эгоизме весь человек, а вне его – одно безразличие. Я знаю очень много господ, которые, сытно пообедав, громят от нечего делать действительность, меркантильное направление века, и разоженная мало-помалу всяким нравственным развратом фантазия их разыгрывается, и стоящие вокруг с разинутыми ртами лакеи с изумлением слушают, как господа рассуждают о правах всех и каждого на наслаждение жизнью и всем обещают равенство... в будущей жизни. Конечно, оно иногда приятно помечтать о том, что было бы, если б было вот так, а не вот этак, но ведь мечтать обо всем можно, даже и о том, что было бы, если б ничего не было!

Во всяком случае, подобные рассуждения более приятны, нежели полезны, потому что действительности-то все-таки переменить нельзя, как нельзя, чтоб дважды два было не четыре, а пять; потому что она сама не что иное, как результат, произведение, в котором и множитель, и множимое равно нам даны, как факт глухой, не терпящий рассуждений.

Человек не один на земле; вне его существует другой, отличный от него мир, который он должен, однако ж, понять, как необходимое дополнение себе, – скажу более, без которого он сам себя понимать не может. И в этом-то усвоении человеком внешнего мира, в этом уяснении отношений своих к нему и состоит главная задача, весь смысл его жизни. Задача огромная, и согласитесь, что человек-младенец не мог решить ее, потому что не было у него ни опытности, ни знания вещей, с которыми обращался, а дорог к приобретению и того и другого – бесчисленное множество; кто может поручиться, которая действительно истинна? Можно ручаться только за то, что, раз избрав себе путь, человек не изменит ему и логически верно разовьет все крайние пределы отправного пункта. Вот вам и тайна происхождения зла, вот и тайна разумности сущего.

Вы спросите, может быть, меня, что же будет, когда человек исполнит свою задачу, когда он определит свои отношения к внешнему миру, когда эта столько лет разрозненная антиномия – человек и внешняя природа – сольется наконец в один величественный синтез? Отвечаю: тогда прекращается прогресс человека, тогда наступает период его успокоения, и так как жизнь обуславливается движением и исключает идею инерции – наступает период смерти...

Тяжело мне писать вам это, тяжело смущать вас; но ведь все равно, как ни возьмитесь, результат все один и тот же, материалист ли вы или идеалист, оправдываете ли действительность или не признаете ее разумности, – если вы последовательны, то хоть против себя, а все же придете к одному всепоглощающему концу – смерти, ибо, во всяком случае, результатом всех этих систем лежит одна и та же венчающая их идея счастья, равносильная смерти.

Но я, может быть, и надоел уже вам, самовольно взяв на себя роль ментора, и потому, кончая здесь письмо свое, обещаюсь в следующий раз быть менее нравоучительным и более

разнообразным. В настоящую минуту я еще так мало взгляделся в окружающих меня людей, что решительно ничего не имею сказать вам о житье-бытье своем. А впрочем, и вперед все-таки за разнообразие поручиться не могу, потому что в жизни-то его не обретается, потому что декорации-то ее всё одни и те же: сегодня день и завтра день; а в этом я, право, уж не виноват!

ОТ ТОГО ЖЕ К ТОМУ ЖЕ

Надо вам сказать, что я состою теперь *на кондициях* у одного довольно богатого помещика, г. Крошина, близкого соседа моего отца. Он дает мне пятьсот рублей, удовольствие жить в деревне и хороший стол в продолжение трех месяцев; я же, с своей стороны, обязан научить в это время разному ученью двух его сыновей и сделать их способными к поступлению в гимназию. Обязанность, как видите, быть в некотором смысле волшебником, что немало льстит моему самолюбию. Конечно, Крошин воображает, что он делает этим мне и моему семейству благодеяние, что он, по свойственной всем такого рода людям неделикатности, и дал мне заметить... Впрочем, я не обращаю на это большого внимания.

Заметьте, однако, мой милый, что человек богатый, как бы мягок и цивилизован ни был, коль скоро принимает услуги бедного, непременно даст ему почувствовать всю тяжесть своего мнимого благодеяния. И в этом отношении чем голее, чем грубее выразится это напоминание, тем оно легче, тем сноснее для того, на кого падает. И образованный человек, уж по одному тому, что он имеет, а я не имею, все-таки не настолько отказался от общественных предрассудков, чтоб не видеть простого наемника в человеке, которого услугою он пользуется; но так как он понимает, что иметь и не иметь вовсе не от нас зависит, что это более игра случая, нежели результат разумных причин, то и старается всячески сгладить, сделать неприметным расстояние, которое разделяет имущего от неимущего. Но уверяю вас, этот невинный эклектизм гораздо невыносимее для человека мыслящего, нежели всякие медвежьи выходки степного невежды, и мне всегда становится неловко, когда я вижу, как стережет себя, как взвешивает человек каждое свое слово, чтоб не оскорбило оно вас: и не понимает он, добродетельный, но глупый, что это-то самое и обличает в нем молчаливое признание своего превосходства над наемником.

Прошу вас, однако же, извинить меня за мои отступления: это уж такая болезнь – ничему не доверяться, ничего не принимать, не анализируя наперед вещи в самых малейших ее оттенках. Итак, удовлетворив этой потребности, продолжаю свой рассказ. И, во-первых, опишу вам семейство Крошиных.

Каких, подумаешь, нет на свете людей! сколько предметов для изучения, сколько оригинальных, совершенно особенных типов остались никем не замеченными, никем не изъясненными! Действительно, в публичной жизни эти люди как будто бы стираются, подходят под общий уровень – ничего яркого, ничего определенного! Все они, с немногими разве исключениями, как будто вылились в одну формулу: добрый христианин, почтенный отец семейства, благонамеренный гражданин, друг человечества... и более ничего не скажете вы, как ни ломайте себе голову. И никогда не узнаете человека, покуда судите об нем только по публичным его отношениям, пока не спуститесь в самую тесную сферу – на задний двор его жизни, где тянется она, бледная и вялая, час за часом, как та сказка о черной и бурой корове, которою надоедали нам в детстве наши мамки. Там-то, среди этого сора и пыли, называемого хозяйством, полный разгул его скопидомскому эгоизму; там целые дни, как крот, неутомимо роется и копышится он, весь в сале и грязи, сам не отдавая себе полного отчета – зачем и почему. И куда девались это благоприличие, эта благонамеренность, эта приятная улыбка, благосклонный взгляд? Исчезло все, как по волшебному манию!.. Осталась какая-то слякоть.

И если вы человек с эстетическим чувством, с высшими взглядами на жизнь, если в природе вы хотите изучать только изящную ее сторону – и не подходите близко к этим грязным существам, они слишком оскорбят нежные органы ваши. Если же, напротив, вы хотите знать жизнь во всех ее явлениях; если жизнь, как бы уродливо она ни выразилась, сама по себе есть уже отрада и утешение, если, говорю я, вы сознаёте, что солнце, блистающее в высоте, равно озаряет дворцы и помойные ямы, богатство и нищету, добродетель и порок, – в таком

случае вы последуете за мною и с любовью будете изучать мелкую, кропотливую жизнь этих выродившихся людей, и – кто знает? – может быть, из этого изучения что-нибудь да и выйдет!

И что за странные и, по-видимому, беспричинные противоречия представят вам эти будничные характеры! В них как-то спокойно стоят себе рядом вещи самые противоположные, понятия, друг друга уничтожающие с одной стороны, самый холодный, расчетливый эгоизм, с другой – покорность самая униженная, доходящая до совершенного отрицания всякого человеческого достоинства; с одной стороны, жестокость возмущающая, высочайшее равнодушие, с другой – великодушие, любовь! Умное и глупое, высокое и смешное – и все это вместе, все рядом и всё во имя одного и того же начала добра.

Представьте себе, например, хоть такого человека, как Крошин. Иногда на него нападают минуты, по которым не знающий его мог бы заключить, что он человек с сильною, по-своему, волею, которая заставляет преклоняться перед своим неразумием все, встречающееся ей на пути. Совсем нет! Это на него, что называется, такой стих нашел, а на деле-то он почтенный отец семейства, и так далее до бесконечности, совершенно под башмаком у своей жены, ходящий каждое воскресенье в церковь, подтягивающий басом дьячку, подающий отцу иерею кадило, и больше ничего... Если взглянуть на его внутреннюю жизнь – тоже ничего самостоятельного: все одно да одно, встает он рано, бог знает для каких причин, потому что в присутствии его решительно никто не нуждается; потом пьет чай, потом идет в поле, более для проформы, посмотреть на работы, и тут непременно выругает мужика-лентяя, хотя бы и не было никакой причины ругаться, потом обедает, и за обедом непременно бранится, отдыхает, пьет чай и опять спит... Сегодня так, и завтра так; я вам говорю, что это добрый семьянин и прочая, совершенно не имеющий своей воли, делающий все бессознательно, по привычке, а не по природе; необходимый с своими подчиненными, по привычке покорный до самоуничтожения своей жене, которая не дает ему ни копейки денег.

Но и у этого человека есть свой форс, своя блажь, и сохрани бог, если кто-нибудь вздумает ему противоречить – в этом случае он забудет все, забудет обыкновенную свою кротость и покорность, сделается деспотом и приберет жену. Блажь эта состоит именно в том, чтоб не прерывали привычных его отправлений, и если настал для него час ругаться – он и ругается, и никакое дело не отвлечет его; как у всех слабых, упрямство заменяет в нем силу воли, и им хочет он выразить, что он глава в доме. В самом деле, никто ему и не прекословит, никто и не обращает на него внимания, потому что все знают, что пройдет час – и сердце пройдет, и будет он в следующий час опять добродетелен. И потому будь самый честный человек и осмелся ему противоречить – сделаешься злейшим врагом и супостатом его, а лакей, пьяница и мошенник, слывет в его мнении за образцового именно потому, что поддакивает ему. Около него образовалась даже какая-то особая шайка лентяев, которых сама Марья Ивановна, со всею своею гигантскою властью, не может уничтожить, которых минуют всякие рекрутства и домашние расправы, врасплох застающие виноватого лакея. Детей своих Игнатий Кузьмич любит тоже по привычке, то есть сует им беспрестанно в рот руку для напечатления на ней поцелуя; но тем и ограничивается его участие в них. Он часто говорит об них, о том, как бы устроить их, но желания его самые глупые, самые уродливые.

Мне рассказывал один из соседей, что когда умерла его старшая замужняя дочь, он стал перед ее гробом, по-видимому, весьма опечаленный такую потерю, но горесть его выразилась самым комическим образом: "Уж за что же, – говорил он, – вы нас оставили? Уж за что ж вы рассердились на нас? Маленькие вы были – мы вас воспитали, мадаму для вас мы наняли, платья вам покупали! подросли вы – замуж мы вас выдали, приданое вам дали! ездили вы к нам – лошадей ваших овсом кормили! уж за что вы нас оставили, за что ж рассердились на нас?" Но когда ее похоронили и все гости разъехались, он был уже равнодушен и только спрашивал у своих фаворитов. "Что, брат Степ, – или, – что, брат Левка, а ведь схоронили-то

мы ее, кажется, как следует... а? кажется, как следует?" – и более ничего, как будто и не было у него дочери, как будто он и не плакал еще за полчаса перед этим.

С первую своею женою Крошин обращался жестоко, потому что она была женщина слабого здоровья, обиды и ругательства мужа не разбивались об нее, как об каменную стену, а оскорбляли глубоко, вызывали на глазах ее слезы, а ему того-то и надобно было, и не было меры его буйству, так что и при жизни веяло от нее как-то могилою, как будто бы умер уж давно человек, да похоронить его забывают. С Марьей Ивановной уж другое... то есть не то чтоб он не был груб по-прежнему, да на него не обращают внимания, оставляют ему для потехи его бессильную брань, зато уж во всем прочем располагают им как куклою, возят куда хотят, и не знает он, что делается у него в доме и в каком положении хозяйство. Коли хотите, он никогда не целует у Марьи Ивановны руки, а сам заставляет ее целовать свою руку при всяком удобном случае, поносит ее часто при всех, не жалеет никаких обидных намеков, отрекается от своих детей, но тут же, впрочем, не более как через пять минут, обращается к ним с ласками, просит прощения и со слезами на глазах бормочет им всякий вздор.

Иногда на Игнатия Кузьмича вдруг нападают минуты скептицизма – он говорит, что читал Экартсгаузена и уж знает, как создан мир, и начинает выводить силлогизмы не совсем верные. Например, на днях сидели мы за ужином, Крошин был в апогее скептицизма. "Ох, уж эти мне ученые, – говорил он, – все они выдумали! а что и науки-то, и человек-то что – тлен, былие, животное, червь, а не человек – и в Писании сказано! Да ведь и собака тоже животное! Ну, человек – животное, собака – животное, вот и выходит – что человек, что собака – все одно, все тлен, все земля и в землю обратится!"

И всего несноснее в этом, что по большей части с подобными рассуждениями он ко мне обращается!

Так вот каков глава семейства, в котором я теперь живу. Что касается до Марьи Ивановны... но признаюсь вам, вот уж почти три года я знаю ее, а до сих пор еще хорошенько не понял. В последнее время, находясь с нею в беспрестанных сношениях, я пристальнее вглядывался в этот странный характер – и все-таки ничего не могу сказать об нем определительного. Несомненно только одно, что в ней есть все элементы заботливой матери, хорошей хозяйки, даже доброй жены, но все это покрыто какою-то плесенью, все это так далеко зарыто, что нужно долго всматриваться, чтоб из-за этой грубой женщины увидеть мать, из-за женщины-кулака – бережливую хозяйку. Конечно, и этой невыгодной метаморфозе нужно искать источник в первоначальном воспитании, и действительно, по размышленью зрелом, метаморфоза оказывается весьма естественною и даже необходимою. Чтобы понять Марью Ивановну, нужно знать, что она с юных лет была брошена на произвол окружавших ее нянек, что отец ее был старый скряга и воспитывал ее на медные деньги. До самого замужества она была в подчинении у всех в доме, начиная от отца-скряги и кончая доверенным его, Степаном Лысым, ежедневно приносившим барину отчет по делам. Часто слыхала она от отца только одни, всегда неизменные слова: "Не дурить, Машка, не дурить, поганка! эй, побыю, право, побыю, крепко побыю!" – и больше ничего; разве иногда, в праздник, Иван Семенович подзывал ее к себе и, давая четвертак, приговаривал: "Да ты у меня смотри, береги копейку на черный день! а то, небойсь, пряников купишь, сладостюбица! на тряпье истратишь, чревоугодница! дьяволу послужишь..." – и уходил обратно в комнату, охая и бормоча себе под нос: "О-о-ох, подлец нынче стал человек, мотыга – человек!" – хотя сам внутренне и радовался, что подлец и мотыга стал человек, потому что только на этих блестящих качествах и зиждилось все его благополучие.

Вышла Марья Ивановна замуж – и от этого не стало ей легче. Конечно, теперь она вздохнула свободно; но этот вздох был не в ее пользу. Будь у нее другой муж – из нее, может быть, и вышло бы что-нибудь; но вы поняли из предыдущего, что такое Игнатий Кузьмич, и Мария Ивановна точно так же поняла его. В детстве она была бита, теперь желает сама проявиться в личности других; в детстве она была в подчинении и у Ефремки, и у Степки, теперь она

барыня и задаст себя знать и Ефремке, и Степке, и чадам их. И любо иногда смотреть, как она распоряжается! В детстве она жила среди лишений и, следовательно, имела все время, чтобы поразмыслить, какая сладость заключается в деньгах, что блажен, кто имеет, и презрен, кто не имеет их, поэтому теперь преобладающая в ней страсть – страсть к деньгам, и нет того блага, которым бы она не пожертвовала в пользу их. Разумеется, сначала, покуда еще, что называется, молодо-зелено, она желала денег, как средства, но потом мало-помалу до того втянулась в эту бездонную пучину, называемую «благоприобретением», что деньги из средства сделались целью, и целью постоянною, не дающею ей ни днем, ни ночью покоя. Из этого вы видите, что, хотя начала она и от противного, а кончила на том же, на чем остановился и отец ее, с тою только разницею, что в ней эта страсть деятельная, беспокойная, тогда как в страсти Ивана Семеновича было что-то безжизненное, апатическое, отчего как-то страшно и холодно становилось живому человеку.

И действительно, в сфере «благоприобретения» все существо Марьи Ивановны как будто преображается, она стряхивает с себя природную лень, она не спит ночи, готова ездить в тряской телеге по сквернейшим дорогам, кланяется и поит повытчика с распухшею физиономией и подбитыми глазами, называет его благодетелем, призывает на помощь все обольщения: свою одинокую сиротскую долю, свое женское незнание, материнскую любовь, – и когда умиленный повытчик, искривив рог и подмигивая глазом, говорит, запинаясь от частых возлияний: "А что, матушка, разве Игнатий-то Кузьмич того?.. дела-то плохи." – "Ох, уж не говори мне, батюшка, – отвечает Марья Ивановна, – уж куда ему, старому! уж что за муж – только видом-то муж! отдали меня молодую, неопытную. Хорошо, родной, что еще бог в чистоте поддерживает, а то – сохрани господи!.." И разнеженный повытчик хлопочет, и просьбы противников залеживаются, и дело затягивается, а Марья Ивановна торжествует.

И нет ничего оскорбительнее для живого человека, как видеть всю эту жизнь, вечно устремленную на медные гроши, из которых неимоверными усилиями составляются рубли, сотни и так далее. И придут наследники, и будут тоже составлять из копеек рубли, и еще наследники, и все тот же процесс благоприобретения.

А между тем такой тип женщины-кулака встречается весьма часто, и особенно в провинциях, где жизнь женщины исключительно сосредоточена в узеньких рамках фамильных ее отношений. В столице сфера эта обширнее; женщина развлекается между семейством и обществом, у нее есть уже обязанности внешние, законы приличия, которых она не может нарушить. В провинции же вокруг нее все тихо, все умерло. Надо же как-нибудь доконать, добить это несносно тянущееся время, потому что праздность душит, тяготит человека, каков бы он ни был – вот она и погрязает по уши в своей семейной грязи, и нет меры обвешиваньям, обмериваньям, сплетням и тому подобным дрязгам!

И по совести, нельзя сказать, чтоб она на волос во всем этом была виновата: бросьте ее в одни обстоятельства – будет один результат; окружите ее другою серединою, и вся физиономия ее внезапно изменяется – те же струны, да звуки другие дают! Тут случайность, а не разумная причина, тут просто фатум, и она бессильна против него... Не дайте человеку есть, он, может быть, умрет с голоду, но скорее всего украдет и будет жить; если б не мириться нам кое-как с действительностью, не знаю, много ли осталось бы людей на свете! И не говорите мне, что голод не пример, что питание есть первое и необходимое условие жизни: пример, милый мой, пример, все потребности – естественные или развитые в нас цивилизацией – равно кричат об удовлетворении, как и голод, а иногда и пуще; иногда ложное понятие о чести решает в одну минуту участь человека: все зависит от степени развития человека, от положения его в обществе.

Третье лицо, и, конечно, самое интересное, есть дочь Крошина, Таня. Когда я был еще ребенком, отец мой часто ездил со мною к Крошиным, и нередко по целым месяцам гостил я в этом семействе. Тогда Игнатий Кузьмич был женат на первой жене, и у него было две дочери;

одну из них, младшую, я в особенности любил и никогда почти не расставался с маленькой Таней. Но тому прошло уже лет двенадцать; вы можете себе представить, сколько воды утекло с тех пор; с тех пор я успел уже перебывать и в университете, и на государственной службе, и многое узнал, многое испытал в жизни, хотя еще большего не знаю. Впрочем, дело не в том, что было во времена давно минувшего детства, а в том, что теперь Тане семнадцать лет, теперь у нее мачеха, которая, как кажется, не очень об ней заботится; теперь она одинокая сирота, и, к довершению всего, весьма и весьма недурна собою.

Встречаются иногда в жизни странные натуры, натуры до крайности робкие, запуганные, которые как будто боятся света и всегда бегут подальше в тень; в них есть что-то как будто недосказанное, неполное, болезненное; какая-то неестественная, невызревшая развитость говорит в каждой фибре утомленного лица, так что вам и больно, и тяжело делается при виде этого хрупкого, нежного существа, вы бы желали поменее выражения – менее лихорадочного блеска этим черным глазам и более веселости, более красок всему лицу.

Такова именно Таня. Я помню мать ее: она тоже была больная женщина и, кажется, даже умерла чахоткою; естественно, что здоровье матери имело влияние на ребенка, и Таня действительно всегда была, что называется, ненадежна, а вы знаете, что слабые дети быстрее других развиваются, хотя всегда в ложную сторону. Притом же она была воспитана в каком-то пансионе для благородных девиц, а вам известно, что такое воспитание благородных девиц в иных пансионах. Все это немало способствовало одностороннему и довольно пагубному развитию Тани.

Из всех несчастий, которые падают на долю человека, нет глубже, нет страшнее горя семейного, домашнего. Оно не бросается в глаза, не выставляет напоказ своих ран и потому всегда остается незамеченным. Надо самому много испытать, чтоб понять, сколько есть подавляющего в этих, по-видимому, маленьких огорчениях, в этих незаметных преследованиях, которые не убивают вас сразу, но мало-помалу отравляют всякий миг вашего существования и, наконец, делают вас неспособным жить. Нельзя сказать, чтоб Таня много терпела от домашних; напротив, она ест сколько ей угодно, спит тоже по желанию, мачеха особенного зла ей не делает, а отец даже любит, хотя любовь эта выражается как-то неуклюже. Но вы понимаете, что такая жизнь – скорее отрицание жизни, нежели самая жизнь; в ней только худа нет, но нет и добра, и весьма естественно, что она не может удовлетворить душу Тани, по преимуществу открытую впечатлениям нежным и эстетическим. Итак, все соединилось, чтоб возбудить во мне участие к этому прекрасному, заброшенному всеми цветку, который начинал уже блекнуть прежде, нежели успел раз вернуться. И я действительно как-то весьма охотно принялся за ее воспитание, хотя и начал его довольно неловко, как и все, впрочем, за что я ни примусь, потому что до сих пор еще никак не умею подделаться под обыкновенные житейские требования и стать в уровень с действительностью. На днях как-то шли мы вместе, и на дороге попался нам нищий. Бледный и прежде времени сторбленный, протянул он изможденную руку свою, прося обычное: "Христа ради"; она вынула из кошелька мелкую монету и сунула ему в руку.

– О! да вы, как я вижу, на практике следуете правилу любить ближнего, как самого себя, – сказал я, улыбувшись.

– А вы находите это смешным?

– Помилуйте – за кого вы меня принимаете?.. вы следуете влечению своего сердца. Уж не мечтаете ли вы иногда об организации благотворительности?

– А что?

– Ничего... приятное занятие.

– Вы сегодня в дурном расположении духа, Андрей Павлыч.

– Да так... извольте видеть, пришло на мысль, что если б вы подумали, вы, может быть, и не подали бы этому нищему... такие иногда, право, вещи в голову лезут.

– Странно!

– Странно? а между тем подумайте, так ничего не найдете странного.

– Сделайте одолжение, уж подумайте вы за меня и вразумите меня, непонимающую.

– Да вот вам не пришло, например, на мысль, что, помогая бедному, вы не делаете ему действительного добра. Положим, что ваше благодеяние на минуту и облегчает его участь и делает его счастливым... разумеется, относительно, а и не подумаете о том, что минута все-таки не целая жизнь, что в следующее затем мгновение доля его уж гораздо горче и несноснее, нежели была прежде.

– Это как?

– Очень просто; улучшая его участь, вы даете случай развиваться в нем новым потребностям, которых он до того не имел; к прежней-то своей жизни он привык и не жаловался... к чему не привыкают! – теперь же другое дело – испытал сладкого, он не хочет уж горького, не хочет возвратиться к прежней своей безотрадней жизни. А между тем вас-то уж и нет, чтоб вновь подать ему милостыню – вы точно так же исчезли, как и встретились с ним на пути его, то есть совершенно случайно!

– Однако ж, разве нет, кроме меня, сострадательных людей на свете?

– Есть, разумеется, есть, кто же против этого спорит? даже очень много, да все же ведь это случайность, все же это не обеспечивает человека; может быть – есть, может быть – нет, – ведь это шатко, ведь так нельзя жить! Да, притом, неужели вы не видите и другой стороны благотворительности? неужели не видите, что она приучает жить на чужой счет того, на кого обращена, заглушает в нем гордость, энергию, все, что делает человека человеком?

– Положим, что вы справедливы; но вы забываете, что чувство сострадания является во мне против воли, ведь не могу же я истребить и выбросить его из сердца, как негодную и ненужную мне тряпку?

– Ах, боже мой! да кто же сказал вам, что чувство, которое заставляет ваше сердце болезненно сжиматься при виде лохмотьев, худо прикрывающих раны нищеты, есть именно сострадание, а не какое-нибудь другое чувство? А может быть, эта мнимая любовь к ближнему – не более, как преобладающее в вас чувство изящного, возмущающееся страшною картиною безобразия, тесно связанного с нищетою? Соболезнуя о страждущем и голодном, вы, может быть, о себе соболезнуете, потому что стоны и ропот неприятно оскорбляют ваши органы, привыкшие к впечатлениям эстетическим.

Но, казалось, в моих словах было слишком много непривычного для нее равнодушия и холодности, потому что на глазах ее навернулись слезы.

– Станный вы, право, ребенок! – сказал я, взяв ее за руки.

Но она ничего не отвечала мне и весь вечер была печальна и задумчива. Мне самому теперь кажется, что я слишком круто приступил к ней; но дело уже сделано, а раскаяние – смертный грех! Тем не менее, из этого разговора вы видите, что отношения мои к дочери Крошина принимают несколько дружественный характер и что первый шаг уже сделан.

Итак, вот вам весь мой внутренний домашний быт. Надеюсь, что я был в этом письме разнообразен и многообразен и что вы не в претензии на меня.

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА ТАНИ

Кажется, все те же вокруг меня люди, кажется, и любят, и ласкают меня, и не на что бы мне жаловаться, а все как будто чего-то недостает, как будто пусто, как будто вымерло все вокруг меня, и я одна в этой пустыне. Сама не могу себе представить это что-то, чего просит душа моя, а между тем чувствую, что неполно, холодно мне.

Мне страшно иногда за себя становится, что я так задумываюсь, что слезы без всякой причины навертываются на глазах и какая-то темная тоска сосет мое сердце. Посмотрю я на других – или резвятся, или делом занимаются; одна я, как будто отверженная, дичусь и чуждаюсь людей, и нет мне дела до их веселья, и никакое занятие на мысль нейдет; сижу от всех в стороне, точно связанная, скованная.

И некому мне открыться, некому успокоить, ободрить меня... я одна! Какое кому дело, что ноет, плачет мое бедное сердце; кто возьмется растолковать мне мое горе? всякий живет для себя, у всякого свой интерес, у всякого свое дело, гораздо важнее пустых бредней мечтательной девчонки!

Да если б они и хотели, то не могли бы пособить мне: жизнь-то их такая странная, чувство-то в них так зачахло, так глубоко спряталось за ежедневными мелкими заботами, что как-то боится оно света божьего, и не обчистить его от налетевшей на него пыли!

Ты бы одна поняла, ты бы одна утешила меня, милая, добрая мама; на твоей груди могла бы я выплакать свое неотвязное горе. Была бы я и весела и счастлива, да нет тебя со мною... прошло мое время, прошло навсегда! Видишь ли ты, по крайней мере, слезы мои? молишься ли, помнишь ли обо мне в своем чудном далеке? А я бы так любила, так лелеяла тебя, добрая мама, и как полно, как тепло было бы у меня на сердце, когда бы ты была со мною! И теперь одно только воспоминание о тебе поддерживает мое бедное сердце, и теперь те лучшие минуты моей жизни, которые провожу я на могиле твоей. Стоят две березы над забытою могилкою и целый день шумят и шепчут о чем-то так грустно, так уныло. Рассказали ли они тебе мое горе, донесли ли они до тебя весточку о твоей дочери? Тяжело мне, мама, страшно сиротке твоей одной на свете!..

И наступают иногда для меня минуты тяжкого страдания, и я желаю смерти, и я прошу у бога, чтоб взял он меня скорее к себе. О, как бы счастлива, как рада бы я была, как легко и вольно понеслась бы душа моя навстречу к тебе, милая мама! Быть с тобою, дышать твоим дыханием, сбросить с себя, наконец, эти тяжелые цепи, которые приковывают меня к земле, и всей превратиться в одно вечное, неиссякаемое чувство восторга... и нет этой вечности конца, и нет пределов!.. Боже мой! боже мой! от одной этой мысли голова у меня кружится, неизъяснимая сладость сходит в мою грудь, и я дышу свободнее и вся преображаюсь, как будто невидимые крылья поднимают и несут меня далеко, далеко, туда, где вечно сияет небо в неизменной красоте своей, где вечно греет и животворит веселое солнышко! Но тем печальнее, тем обиднее мне, когда я пробуждаюсь от роскошного сна своего, и невыносимо несносны и малы кажутся мне все эти интересы, которые движут и шевелят вокруг меня пеструю массу людей...

Уж как же я рада, что наступает наконец лето! Тянулась, тянулась эта скучная зима, конца ей не было! Да зато и обрадовалась же я, когда проглянуло ко мне в комнату солнышко и пахнуло на меня свежим воздухом весны! Ведь вот оно хоть тусклое, хоть и серенькое теперь у нас небо, хоть и невесело и как будто бы нехотя смотрит солнце, а все как-то теплее, легче на сердце, и глядит-то все на тебя, как будто о празднике, и все чему-то рада, сама не знаешь чему, а рада... Зимой все мертво, все прячется и спешит скорее в душную комнату, поближе к огню, и способности все сжаты, и вся жизнь-то какая-то неестественная, насильственная жизнь... нет, не люблю я зимы! то ли дело лето! А как вспомнишь бывалое время, то время, когда была еще у меня моя добрая мама – боже мой! сколько минут невыразимого блаженства доставляло

мне это чудное летнее время! Бывало, чуть забрезжится свет и сверкнет на востоке огненная полоса, скорее бежишь вон из постели – и в сад, и все забудешь: и ворчанье старой няньки, и сладкий детский сон, и в голове так свежо и полно силы, и сердце так трепетно бьется, как будто вылететь из груди хочет! И что за чудное утро в саду! весь мир, кажется, притих и притаил дыхание, как будто объятый сладким очарованием; только где-где в кустах зашумит и защебечет ранняя малиновка, почуяв близкий восход солнца, и больше ни звука, ни шелеста, так что, кажется, слышишь самое незаметное дыхание ночного ветерка... И с полчаса бывало, стоишь на одном месте неподвижно, как будто боишься осквернить неуместным движением это глубокое торжественное спокойствие, покуда не пахнет в самые глаза свежий ветер, предвестник солнечного восхода. И встрепенешься вдруг, как будто от сна, и с изумлением глядишь вокруг себя, а на небе огненной полосы уж и следа нет, весь восток залит огнем, снопы нестерпимого блеска порываются там и сям через разорванную тучу... вон уж осветилась и темная верхушка соснового леса; вон и соловей загремел свою чудную песню, и цветы развернули и подняли кверху свои чашечки, и воздух наполнился упоительным ароматом. Э-ге! да не пора ли разбудить Вареньку! Вставай, Варенька, вставай! пора: уж солнышко на небе! А Варенька и не слышит, только губками лепечет во сне что-то невнятное, да глазки откроет на минуту, да и опять завернется поскорее в теплое одеяло. Оно и не мудрено! ведь она под утро только заснула, бедная, а то всю ночь глаз не смыкала: всё снились ей страшные люди, про которых рассказывала нам накануне старая няня!.. И выйдешь, бывало, на балкон, а солнышко уж высоко, вон и пастух выгнал стадо и ведет его к реке, и выпорхнула из высокого тростника испуганная стая диких уток, издав издав слышав топот бегущего стада; вон и крестьяне идут гурьбой с косами на плечах; вон и кузнецик затрещал в высокой траве; шум, говор, стук. Боже ты, боже мой! что это так весело, жизненно в сердце! чувствуешь, как закипело все вокруг тебя деятельностью, как все кишит, и движется, и суетится, куда ни обрати глаза свои! и сама как-то ощущаешь в себе необыкновенную деятельность, и бегаешь, и резвишься, и смеешься таким веселым и звонким хохотом, как будто все существо наводнило и переполнило радостью, как будто места ей нет в груди!..

И скорее, бывало, спешишь после чая протвердить заданный урок, такой длинный и скучный, и все кажется, что конца не будет этому классу! А выйдешь в сад – погода чудесная, воздух знойный, небо такое синее-синее и так далеко раскинулось, и нигде ни облачка! И сладко задремлешь, и забудешься под убаюкивающее веянье густой душистой черемухи, в чаду восторженных нестройных грез; и видится то далекий, неведомый город, то звездное небо, то ангелы с радужными крылами, а сладостная дремота, как вор, так и подкрадывается к отяжелевшим векам, покуда резвый хохот подруг не выведет из этого сладкого полусна.

И опять шум, и опять смех, а вечером купаться, в горелки играть, кататься по озеру. Боже мой, боже мой! да где же, наконец, ты, веселое мое время? Куда же исчезла, куда скрылась ты, моя радость? Или никогда не видать мне тебя, или вечно быть мне покинутою, оставленною сиротою?.. Мама!.. Мама!..

Лицо ее было всегда задумчиво и до того бледно, что можно было скорее принять его за восковое, чем за лицо живого существа; никогда никто не видал на губах ее веселой улыбки или чего-нибудь подобного; но тогда я была еще так мала, что мне не казалось это странным. Помню, что каждый день сажала она меня и покойную сестру около себя и спрашивала у нас заданные уроки, и мы наперерыв старались отличиться друг перед другом, чтоб утешить, развеселить нашу добрую маму. Однажды утром, когда мы, по обыкновению, собрались в класс, к нам пришла старая няня и сказала, чтоб мы не шумели, потому что мама нездорова, мы заплакали, но, впрочем, тут же забыли обо всем, побежали в сад и целый день бегали и резвились, как ни в чем не бывало. Но вечером нас позвали домой. Когда мы пришли в комнату мамы, я едва могла узнать ее – так переменилась она в один день; худая и бледная, едва могла дышать она, едва могла сказать нам несколько слов, но вообще не жаловалась и не роптала, только

изредка, когда страдания ее, по-видимому, возрастали, она едва внятно говорила: "Господи! умереть! и так рано, так рано!" Мы обе бросились к ней и жадно целовали ее бледные руки. "Я вас давно жду, дети мои, – сказала она своим ласковым голосом, – подите сюда, ко мне... поближе, вот так... ведь это, может быть, в последний раз." И когда мы рыданиями своими прервали слова ее, – "Полно, полно, – продолжала она, сама едва удерживаясь от слез, – зачем огорчаться и плакать? Правда, мне жалко оставить вас, я вас так любила, и вы тоже любите меня, дети мои, мои милые дети? Не правда ли, ведь вы мои дети?.."

И она слабою рукою прижимала нас к груди своей; но в особенности меня целовала она горячо, называла своею милою дочерью, фавориткой и просила не забывать своей матери.

Около часа пробыли мы в ее комнате; вдруг она застонала, но так жалобно и странно, что все мы вздрогнули, и села на постели, как здоровая, и начала разговаривать с какими-то видениями, а потом опять легла на постель и стала звать нас.

Но видно было, что она уж угасала – взор ее делался все более и более неподвижным, губы шептали какие-то отрывистые, бессвязные слова; дыхание становилось труднее и труднее.

Наконец уж и ничего не стало слышно! Нам велели стать на колени и молиться, а через час она лежала на столе, вся одетая в белом.

Помню, когда ее похоронили, я целый день ходила из угла в угол, ничего не чувствуя, ничего не понимая, и есть ничего не хотела, и только спрашивала у всех, долго ли будет почи-вать моя маменька, и когда мне отвечали, что маменька уж не придет никогда, я долго не хотела верить и каждый день просила няню пустить меня к моей доброй, милой маме.

Да! это был страшный день в моей жизни, и вечно останется он памятен мне!

Говорит он, что любви нет, что мы, как дети, только обманываем ею себя, что жизнь наша пуста – вот мы для того, чтоб хоть чем-нибудь наполнить ее, и выдумали себе игрушку, и играем в любовь. И многое говорит он, и все в этом же тоне. Не знаю, отчего мне становится и грустно и холодно, когда я с ним, в словах его слышится какая-то неограниченная вера в самого себя, как будто он все уже разрешил, все определил себе, и не осталось в душе его ни тени сомнения. После разговора с ним чувствуешь себя как-то необыкновенно спокойно... да спокойствие-то это как будто могильное. По его, не должно ни увлекаться, ни любить, ни даже чувствовать: все яркое, все, что выходит из обыкновенной, будничной жизни, для него не существует и исчезает в какой-то страшной пустоте, которую он называет... "гармоническим равновесием".

Как будто человек из того только и бьется, из того только и хлопочет, чтобы прийти к смерти!

Нет, надобно много страдать, много быть обмануто жизнью, чтобы дойти до такого грустного результата! Я как-то заметила ему это мимоходом, но он отвечал, что я напрасно так думаю, что обманут он никем не бывал, а жизнью доволен, потому что убежден, что все в мире существует вследствие известных причин и, следовательно, все хорошо и необходимо. Доволен жизнью, потому что убежден, что существующий порядок вещей необходим! Есть же люди, которые могут представлять подобные оправдания!

Что касается до меня, я бы лучше желала поболее юношеского избытка сил и поменее веры в свой рассудок. Еще когда он только что приехал к нам, сердце мое невольно сжалось; темное чувство страха овладело мною, когда я взглянула на это худощавое, никогда не смеющееся лицо, на этот бледный, высокий лоб, этот холодный взор, который, кажется, хочет проникнуть в самую душу. Помню, еще в детстве я как-то особенно была к нему привязана, и ребенком он никогда не хотел ничего делать, не обдумав, не разобрав наперед малейшего поступка своего; но теперь эта осторожность, эта обдуманность действий сделалась в нем какою-то особенною страстью, похожею на неизлечимую болезнь, и жалко смотреть на него, как взвешивает он каждый шаг свой, как сам неотступно стоит над собою, следит за малейшим своим движением... Бедный! он не понимает, что сам создает себе призраки, которые мешают ему свободно

дышать и наслаждаться жизнью! А еще смеется, называет глупыми идеалистами тех, которые выдумали себе какую-то небывалую свободу волн, небывалую силу самоотвержения!..

Сегодня после обеда сидела я у окна в гостиной и вышивала по канве, братья были в этой же комнате и проходили свои уроки, Нагибин подошел ко мне.

– Вы вышиваете? – спросил он.

– Кажется, да, – отвечала я, – а впрочем, не знаю, смотрите сами.

– Да, вопрос был несколько глуп с моей стороны, извините... что-нибудь для папеньки? к дню ангела? сюрприз?

– Ни то, ни другое, ни третье...

– Ну, так для маменьки?

– Вы знаете, что маменька моя умерла?

– Ах, да, я и забыл. Ну, как же вы проводите время в деревне?.. наслаждаетесь природой, скучаете?..

Я не отвечала.

– Ну вот, вы и рассердились! Ну, скажите же, – верно, наслаждаетесь природой?..

– И, помилуйте, Андрей Павлыч, что вам за охота такой вздор говорить? ведь я знаю, что вы хотите посмеяться надо мной.

– Отчего же вздор? природа большое утешение для сердец нежных и любящих. Но вот, вы опять сердитесь! да что же я сказал такого?

– То, что вы сами не понимаете, что говорите. И что за радость над всем и всегда смеяться?

– Над всем и всегда! сохрани боже! что вы это, Татьяна Игнатьевна! Пожалуйста, не говорите этого при других, а то – чего доброго – как раз прозовут меня волтерьянцем и дебоширом.

– Пожалуйста, перемените разговор, Андрей Павлыч.

– Над всем и всегда! – повторил он медленно. – Вы ошибаетесь, Татьяна Игнатьевна: "над весьма немногим и весьма редко", – это будет гораздо справедливее.

– Как редко? да не вы ли смеялись надо мною, что я до сих пор еще не могу забыть покойную маменьку?

– Смеялся?.. Ну, не совсем чтоб смеялся...

– Не совсем! то есть, вы говорили, что не понимаете этой странной привязанности к прошедшему, что она обнаруживает недостаток жизненности, отсутствие понимания действительности. А знаете ли что? ведь все это что-то очень похоже на присутствие глупости, не так ли? ведь вы это хотели сказать?

– Я весьма сожалею, что мои слова перетолковываются вами в такую сторону... Послушайте, Татьяна Игнатьевна, вы не поняли меня; я хотел только сказать, что воспитание ваше дало ложное развитие вашим силам, сделало вас наклонною к мечтательности.

– И, помилуйте, Андрей Павлыч, зачем же увертываться?

Он отошел от меня и начал ходить по комнате, но минут через пять снова подошел к моим пяльцам.

– Вы на меня сердитесь? – спросил он.

– Да, сержусь, – отвечала я, – сержусь за то, что вы не можете отстать от дурной привычки взвешивать каждое свое движение.

– Послушайте, да что ж мне делать?

– Как что? отстать от этой привычки, принудить себя, предаться влечению своего сердца! мало ли что?..

– Отстать от привычки, принудить себя, – ведь как вы легко говорите, Татьяна Игнатьевна! Удивительно, право, взял да и бросил...

– Попробуйте раз, пересильте себя: сначала будет трудно, а потом...

– И потом тоже трудно, или, лучше сказать, вовсе невозможно. Отстать от привычки! да ведь привычка-то эта всосалась в мою кровь, сделалась моею плотью!

– Вы сознаётесь, однако ж, что это дурная привычка?

Он несколько смутился этим вопросом, но я сделала вид, как будто бы ничего не замечаю.

– Коли хотите – да, – отвечал он через минуту, – в том отношении, что страсть присматриваться ко всему, над всем рассуждать, много открывает нам такого, что несколько мешает нашему спокойствию. А впрочем, что же и счастье, что и спокойствие, если оно не сознательно?

– Разумеется, разумеется, Андрей Павлыч; итак, можно жить и вместе с тем наблюдать за тем, как живешь? так, что ли?..

– Да разве я говорю вам, что живу? я именно только наблюдаю, что же мне делать, когда для меня только такая жизнь и возможна?..

– Отчего же так?

– Оттого, что иначе никак нельзя посмотреть ей прямо в глаза. А я хочу стоять твердою ногою на земле, не ласкаю себя пустыми мечтами и приучаюся действовать...

– Да зачем же действовать, коли все и без того хорошо?

– Конечно, все хорошо, все необходимо, но необходимо исторически; зачем же так привязываться к словам моим?..

– Так, так, Андрей Павлыч; ну, а если б вас... кто-нибудь ударил... ведь это было бы необходимо... по крайней мере, исторически?..

– Да; так что же?

– Ну, и вы... снесли бы?

– Послушайте, Татьяна Игнатьевна, это вовсе не пример.

– Почему же? он несколько затруднителен, потому что нужно отвечать прямо... ведь вы бы не снесли?

– Ну, нет; да что же из этого следует? это доказывает только, что я отдал бы долг пред-рассудку, что кровь во мне была взволнована и более ничего.

– И более ничего?..

– Да; потому что если б я хладнокровно разобрал дело, то увидел бы, что обида нанесена мне не намеренно, а или вследствие недостатка умственного в обидчике, или вследствие заблуждения, или, наконец, вследствие каких-нибудь действий с моей стороны, противных его интересам.

– Умно, умно, Андрей Павлыч! вы чудесный адвокат... Однако ж, вы говорите, что все-таки не снесли бы обиды... Ну, что же? вы-то правы ли?..

– Да; и я прав.

– Да как же это? и вы правы, и он прав... кто же виноват-то, по-вашему?

– Кто виноват? В этом-то и загадка вся, вот этого-то и невозможно определить теперь, потому что средств еще нет...

Со временем это откроется, и виноватый отыщется, а теперь... грустно, тяжело мне признаться, Татьяна Игнатьевна, а в настоящую минуту я думаю так: и черное право, и белое право... Оно, коли хотите, несколько странно, а верно. И как вы ни бейтесь, как ни думайте, а не выйдете из этого противоречия!

С этими словами он отошел от меня и пресерьезно начал заниматься уроками братьев, и целый вечер, как ни старалась я, никак не могла навести его на прерванный разговор наш.

ОТ НАГИБИНА К г. NN

Читая французские и всякие другие романы, я некогда удивлялся, что в основе их проведено всегда одно и то же чувство любви. Разбирая природу свою и восходя от себя к типу человека, я находил, что, кроме любви, в нем есть другие определения, столь же ему свойственные, столь же немолчно требующие удовлетворения. И человек казался мне именно тем гармоническим целым, где ничто не выдавалось ярко вперед, где все определения стирались в одном общем равновесии.

И я был, коли хотите, в известной степени прав, потому что брал человека, изолированного от всего, вне его сущего. Но я забывал, что человек сам по себе ничто, покуда личность его не выразится в известной среде, которая тоже не масса мертвая, но деятельный и живой организм, стремящийся пребыть в своем эгоизме. Очевидно, что при первой встрече этих двух эгоизмов должно быть неминуемое столкновение, борьба их. Как же разрешить это вечное противоречие жизни, которое мешает человеку дышать, которое гнетет и давит его существование? Как удовлетворить жажду гармонии, на которой единственно успокоивается утомленное его сердце, потому что в гармонии – счастье человека, а счастье – цель, к которой стремится весь его эгоизм? Средства к выходу есть, но они не даны нам; для человека один только факт не подлежит сомнению – это стремление примирить противоречия жизни, выйти из неестественного положения, в которое он ими поставлен, во что бы ни стало, даже с пожертвованием своего собственного эгоизма. И тут-то, в эти безотрадные минуты, когда невидимое, но злое горе сосет и гложет его сердце, когда, задавленный и чуть дышащий под тяжестью уродливого стечения обстоятельств, он не обороняется уже от ударов судьбы, а молит только о пощаде, – тут, в эти страшные мгновения, любовь является ему спасительным средством примирения и принимает то значение, которым она пользуется в обществе. В нормальном положении любовь есть не что иное, как взаимное соответствие двух организмов, данное в известный момент и в известной сфере общественных отношений, – симпатия, не предполагающая ни с какой стороны ни жертв, ни страданий; в настоящее же время, когда она служит единственным средством выхода из беспрестанных противоречий, весьма естественно, что круг ее делается не столь уже ограниченным; естественно, что она является отречением частного человеческого эгоизма в пользу эгоизма собирательного, отвлеченного, одним словом, в пользу общества; следовательно, любовь, как главный общественный движитель, оправдывается самым направлением общества, и, следовательно, романисты совершенно правы, насвистывая на эту тему свои более или менее старые варьяции.

Все это я к тому говорю, что со мною случилось довольно странное происшествие, которое я должен рассказать вам.

Не думайте, однако ж, чтоб я был влюблен: если б это было, я не стал бы утруждать вас своим рассказом, потому что это старая, избитая сказка, которую вы прочтете в любом французском романе. Обстоятельство, которое хочу я вам передать, представляет довольно интересный психологический факт; тут дело идет о том, живой ли я человек или мертвый, способен или не способен, что, по-моему, совершенно одно и то же. Судите сами.

Не далее как третьего дня вечером сидели мы за чаем. Крошин был не в духе – он поссорился с своим управляющим и целый вечер или молчал, или произносил такие слова, которые не обозначены даже в печатных русских лексиконах. Марья Ивановна долго крепилась и не говорила ни слова; наконец терпение ее лопнуло.

– Да помилуй, Игнатий Кузьмич, – сказала она, – что это ты, батюшка, только и знаешь, день-деньской слоняешься из угла в угол да ворчишь?

– Ворчу, ворчу, – бормотал Игнатий Козьмич, – ну, хочу ворчать, за дело ворчу... ты что понимаешь?... волос долог... знаешь... а туда же суется баба... я его вот как...

При этом Игнатий Кузьмич плюнул на ладонь левой руки, ударил по ней кулаком и показал на открытое окно.

– Да помилуйте, что ж он такого сделал?..

– Сделал, сделал... а за что я ему деньги-то плачу, за что я его, подлеца, хлебом-то кормлю? за что? Да какой же я после этого господин? разве я не властен у себя в доме? То-то, баба... волос долог, знаешь?.. а ведь тоже лезет... что ж он такого сделал?.. сделал!.. да вот ничего не сделал, а тунеядца и блудного в доме у себя не потерплю...

Марья Ивановна не возражала.

– Ты знай свой чулок... ты баба, наседка, тебе вмешиваться в эти дела не след... Ты что? баба, дрянь... волос долог... знаешь? а еще суется... Вот он, – продолжал Крошин, указывая на меня, – может быть судьей в таком деле: он мужчина; уж это пол такой, пользу отечеству приносит... а ты? То-то, вам позволяй... волос долог... знаешь?

Игнатий Кузьмич в волнении ходил по комнате.

– Ну, скажи хоть ты, – обратился он ко мне, – ну, ты тоже мужчина... Ну, позволил ли бы ты своему холопу слушаться твоих приказаний?.. Ну, скажи!.. Ведь я его хлебом кормлю!.. ведь вот ты и вольный человек, а все-таки я тебя нанял, так ты и мой, говорю: учи арифметике – арифметике и учи, грамматике – так грамматике, а не какой-нибудь там математике... Покуда у меня – ты мой, за то я плачу, я деньги плачу, а не щепки тебе; и когда грамматике, так грамматика и должна быть... А то вот ты, баба, наседка, суешься... ты знай свой чулок... волос-то долог, эй, долог, да ум-то... знаешь?..

В таком духе и тоне была речь Крошина в продолжение всего вечера, – отрывистая, но многозначительная и полная глубокой, ему свойственной философии.

Было довольно поздно, когда я пошел после чая в сад. Погода была чудесная; солнце давно уже село, какой-то мягкий полусвет разливался на окружающие предметы; тишина была невозмутимая; только изредка раздавался вдалеке крик болотного дергача, да немолчно жужжал и стрекотал в густой траве предвестник ведра, ночной кузнечик. Я сел на дерновую скамейку и закурил сигару; не знаю, влияние ли тихого летнего вечера или какая другая причина, но никогда не бывало мне так хорошо, так спокойно, как в эту минуту: передо мной тянулся луг, а за ним синело озеро, все обрамленное густым сосновым лесом. Я еще с детства симпатизировал с нашею сельскою природою, хотя и нет ничего в ней такого, чем бы особенно можно было похвалиться. Это вечно серое, вечно дождливое небо, эти необозримые, бог весть куда тянущиеся болота, эти более желтые, нежели зеленые луга – скорее наполняют душу тоскою, нежели изумляют и радуют ее. Но я люблю ее, эту однообразную природу русской земли, я люблю ее не для нее самой, а для человека, которого воспитала она на лоне своем и которого она объясняет...

В полузабытьи лежал я, когда кто-то назвал меня по имени, я поднял голову: передо мною стояла Таня. На ней было ее белое кисейное платице, и полусвет придавал ее лицу какое-то особенно экзальтированное выражение. Я встал.

– Нет, ничего: сидите, сидите, – сказала она, – я уйду... вы, кажется, об чем-то задумались, а я вам помешала... Сидите же, я сейчас уйду.

– Зачем же? я вовсе не был занят... Пожалуйста, садитесь.

Но, несмотря на то, что я хотел казаться равнодушным, мне было неловко с нею; этот предательский полусвет, эта невозмутимая тишина приводили в сильное волнение кровь мою.

– А мне бы нужно сказать вам несколько слов, Андрей Павлыч... можно?..

– Отчего же? – начал я, несколько запинаясь, – я с удовольствием... только не холодно ли вам, Татьяна Игнатьевна, не лучше ли пойти в комнаты?

– Ах, нет, не нужно, здесь так хорошо, а там... там душно, не то, что бывало прежде, помните? при покойной маменьке?

– Послушайте, Татьяна Игнатьевна, зачем вспоминать об этом? зачем без нужды отравлять свою жизнь? не лучше ли принимать настоящее, как оно есть?..

– Да... да, конечно... а впрочем, я совсем о другом хотела с вами говорить... Да, право, не знаю, как начать... папенька такой вспльчивый, он сам не всегда хорошо понимает, что слова его могут обидеть человека... а сердце у него, право, доброе... а? не правда ли? скажите, вы не сердитесь на него?

– И, полноте, Татьяна Игнатьевна! неужели вы можете думать, что я обижаюсь? Я уж настолько вырос, что могу смотреть на это равнодушными глазами.

– Да, я знала, что у вас доброе сердце, что вы простите его... Так вы не сердитесь? Прощайте же, Андрей Павлыч!.. Ах, да! я еще что-то хотела сказать вам, да и растеряла все... дайте вспомнить... да! помните ли вы, как мы оба еще были детьми, помните ли вы, как мы резвились, бегали?.. помните?..

Я решительно был смущен таким вопросом; не зная, что отвечать, поднял я с земли засохшую ветку и начал чертить ею по песку.

– Забыли?.. а?.. Дурно, Андрей Павлыч, грешно вам! А я так не забыла: вы меня называли тогда просто Таней... забыли?..

– Это было так давно. Послушайте, Татьяна Игнатьевна, переменимте разговор.

– Давно? да, давно, – сказала она едва внятно, – а я все-таки помню... Ах, посмотрите, какое чудное сегодня небо: синее, ни облачка. Я, кажется, мешаю вам, Андрей Павлыч... я уйду... прощайте, прощайте, Андрей Павлыч!

И между тем она все не уходила; по-прежнему сидела она подле меня, по-прежнему смотрела на меня своими большими черными глазами, и по-прежнему я молчал и чертил веткою по песку, не зная, как выйти из своего затруднительного положения.

– А знаете ли что? – сказала она после нескольких минут совершенного безмолвия, – знаете ли?.. Странно... а мне кажется... знаете ли, что мне кажется?.. Я вижу, вы не признаетесь, а я уверена, что это так. Вы поняли меня?.. скажите же хоть что-нибудь!..

Она положила ко мне на плечо свою руку и взглянула мне прямо в глаза.

– Ради бога, – сказал я, задыхаясь от внутреннего волнения, – умоляю вас, кончимте этот разговор... мне тяжело, мне невыносимо тяжело.

– Отчего же вам тяжело? У меня, напротив, так светло, так полно на душе. Знаете ли, Андрей Павлыч, вы испортили себя, вы сами делаете себе жизнь несносною, вы слишком недоверчивы... Ну, признайтесь, ведь вы... да, я вижу, я знаю, что вы любите меня.

Я был совсем уничтожен; дыхание занималось в груди, голова горела. Не помня себя, я взял ее руку и приложил к голове своей.

– Да, горит ваша голова, Андрей Павлыч, и у меня тоже... троньте...

И она прижала мою руку сперва к голове, потом к губам и поцеловала ее; и странное дело – я находил весьма естественным это действие и не думал отнимать руку.

– А знаете ли что? – сказала она, – мне пришла в голову странная мысль: помните ли вы, как мы, бывало, бегали... еще при маменьке? а? как вы думаете?..

И, не дожидаясь ответа, которого, впрочем, тогда и быть не могло, она как серна побежала вдоль по аллее, в глазах у меня потемнело, я ничего не видел, видел только белое платье, мелькавшее передо мною: его одного я хотел, к нему одному стремилась мысль моя, все существо мое. Долго бежал я за нею, то настигая ее, то вновь отставая, и все не давалось, все ускользало от меня белое платье; наконец, измученный, упал я почти без чувств на траву.

– Ага! упал! упал! – кричала мне Таня из-за кустов, смеясь и махая платком, – маменька, маменька!.. Андрюша упал! да и куда ему: Андрюша – ленивец, Андрюша бегать не умеет... не правда ли, маменька?.. да вставай же, Андрюша!

С этими словами она подошла и взяла меня за руку.

Не помню хорошенько, какое чувство ощущал я тогда – было ли то страдание или радость – не знаю, знаю только, что в эту минуту я не мыслил, не рассуждал, и неизвестно мне, чем бы все это кончилось, если б провидение или судьба, в образе дюжего деревенского лакея, звавшего нас ужинать, не прервала этой сцены.

Во всю следовавшую за сим ночь я думал об этом происшествии; минутное увлечение остыло, и по-прежнему обняла меня всего будничная, кропотливая жизнь моя, со всеми вопросами, со всеми придирками, – одним словом, из божества, которым я был в продолжение одного мгновения, снова сделался я обыкновенным человеком. Грустно мне признаться вам, а плодом моих размышлений было сознание, что любовь для меня невозможна, что я даже вовсе не люблю, а только обманываю себя. Любовь жаждет света и не терпит сомнения; она есть взаимно безотчетное и естественное влечение двух организмов, без всякой задней мысли, без всяких предварительных рассуждений. Любить и наслаждаться своею любовью может только человек, вполне обладающий высшим благом в жизни – безопасностью, где есть забота, где сомнение, там нет любви, там есть мгновенная, лихорадочная вспышка, которая иногда удачно пародирует любовь, но недолго, потому что всегда односторонняя и является требованием не цельного организма, а одной какой-либо стороны его. Понимая так любовь, судите сами, способен ли к ней человек, которого жизнь есть непрестанная забота, которого каждый шаг есть уже борьба за кусок насущною хлеба? Если б я любил действительно, я бы не старался так определить себе это чувство, я бы вполне безотчетно предался ему, потому что хотеть анализировать, уяснить себе какое-либо чувство – значит, привносить в него такой элемент, который наиболее ему противен, значит не иметь чувства.

Такое раздвоение теории и практики, идеала и жизни наиболее является необходимым в эпохи переходные, когда человек, измученный и обманутый столькими веками иллюзий, с недоверчивостью смотрит на свои собственные чувства, ищет определить их последствия, их будущность, чтоб вновь не сделаться жертвою заблуждения и вновь не обречь себя на долгое страдание. Это, коли хотите, неестественное положение, ибо человек в этом случае живет только одною стороною своего организма, – да в ненормальной среде нельзя и требовать цельного, гармонического проявления деятельности человека.

Но, обращаясь к себе самому, к своему индивидуальному положению в обществе, я еще более нахожу причин, отвергающих возможность для меня любви.

Уж одно то, что я беден, что я живу со дня на день, что я не могу сегодня сказать наверное, что будет со мною завтра, достаточно доказывает мне всю несбыточность этой любви. И не думайте, чтоб эти слова были с моей стороны школьническим желанием блеснуть пред вами парадоксом, – вовсе нет! Я глубоко сознал истину этого положения, и скажите мне: «бедность», – я невольно уж слышу за этим словом неизбежный его синоним – «смерть». С тех пор как человек отделил для себя угол и сказал: "Это мое", – он один уже пользуется своею собственностью и всю сумму наслаждений, которые из этого пользования проистекают, и горе тому, у кого нет ни своего поля, ни своей хижинки; право существовать – священное право, дарованное ему самою природою, – перестает быть для него действительным, ибо он не имеет, чем осуществить, оправдать его, ибо труд его, способности, вся личность тогда только из бесплодного, чисто нравственного понятия делаются фактом осязательным, когда они выражены во внешности, когда они действуют... Я хотел бы трудиться, хотел бы работать, да не над чем мне трудиться, потому что нет у меня ничего своего, потому что я – аномалия, я только отвлечение человека, или, лучше сказать, вовсе не человек, – потому что для меня нет внешнего мира, в котором бы я мог выразиться и познать себя. Не правда ли, презабавное положение? Вы скажете, что все это, однако ж, не мешает мне ни любить, ни быть любимым. Мешает, милый мой, мешает, говорю я вам. И в этом я вовсе не обвиняю женщин это так естественно, так проистекает из самого свойства любви, что иначе и быть не может. В самом деле, любовь – по преимуществу чувство эстетическое; оно жаждет света, жаждет свободы, оно требует, чтоб

его поддерживали, подстрекали; иначе оно заглохнет, умрет при самом рождении. Эта жажда освободиться от всех внешних препятствий, утрудняющих или останавливающих свободное развитие страсти, есть свойство, столь же общее всякой другой потребности, как и любви; я и не спорю против этого и первый говорю, что полное удовлетворение какой бы то ни было страсти радикально невозможно при известных условиях жизни; но дело в том, что ни одна страсть не предполагает столько разнообразных и прихотливых уступок, сколько требует их любовь, и потому-то возможность любви, не болезненной и односторонней, а такой, в которой организм человека участвовал бы всеми сторонами своими, есть уже верный признак, что человек нашел наконец окончательную, высшую общественную норму, в которой все потребности его удовлетворены, в которой всякое стремление его не остается только отвлечением, а есть действительная плоть и кровь.

Теперь спрашиваю вас: по совести мое настоящее положение и наличность всех описанных выше условий – не есть ли это два противоположные полюса, две параллельные линии, которые идут, но никогда не встречаются? Что скажу, что отвечу я женщине, которой судьбу прикую я к своей жалкой участи, когда пройдет первый миг увлечения, когда спросит она меня, что сделал я с ее молодостью, зачем я ее, полную сил и будущего, заживо погреб в могилу страдания, в могилу нищеты и сопряженного с ней унижения? Что отвечу я ей? А это непременно будет, потому что женщина, как бы экзальтирована и мечтательна ни была, создана не для одной же любви – ей тоже нужен шум, блеск, ей нужно общество, без которого ступить нельзя, без которого душно и тяжело человеку. Вы можете мне заметить, что порядочная и истинно любящая женщина никогда не дозволит себе ни слезы, ни ропота... Боже мой! я допускаю даже, что она и виду не подаст, даже... даже не подумает... Да будто нужно чье-нибудь напоминанье в таком деле? будто у меня самого нет глаз, нет ушей, чтоб видеть, чтоб слышать все ужасы этого убийственного одиночества! Скажу более: чем покорнее судьбе является в этом случае любимая женщина, тем тяжелее будет камень на сердце вашем. Да! тяжело иногда достается жизнь человеку: он видит и не должен видеть, слышит и не должен слышать, везде и во всяком случае бесконечные варьяции на известную басню "Лисица и Виноград".

Все эти соображения, хотя гораздо короче и проще, передал я на другой день Тане, когда мы поутру встретились с нею в саду; сказать по правде, я был несколько взволнован, хотя и желал казаться совершенно равнодушным – материя-то такая, изволите видеть, деликатная! Но наконец я превозмог себя, говорил с нею довольно долго, просил ее забыть вчерашнюю сцену и в заключение предлагал даже уехать назад в Москву, если мое присутствие может ее тревожить. Внимательно, не прерывая, выслушала она меня от слова до слова, но когда я посмотрел на нее, мне показалось, что она была бледнее обыкновенного, и на ресницах ее дрожали слезы. Я хотел взять ее за руку, но она робко выдернула руку и покачала головою.

– Так вот до чего довела вас недоверчивость! – сказала она едва внятным голосом, – помните, я вчера вам говорила, что вы сами мешаете себе жить, что вы сами создаете себе страдания. Не стыдно ли вам?

Она не могла продолжать; слезы, доселе удерживаемые, ручьем хлынули из глаз ее; она быстро отвернулась от меня и пошла по аллее.

Не могу описать вам состояния, которое овладело мною в эту минуту: мне было и легко, что я сбыл наконец с рук эту тяжесть, и вместе с тем как-то стало пусто, как будто чего-то недоставало, как будто что-то забыл, как будто лучшая часть меня самого погибла, стерлась в этом признании. Она заперлась в своей комнате под предлогом головной боли; тем лучше – по крайней мере, я не видал ее; боюсь только, чтоб она в самом деле не сделалась больна.

А между тем она была права, говоря, что я сам делаю себе пытку из жизни, подвергая анализу всякий мельчайший факт ее и никогда не доверяя первому движению своей природы. Я сам чувствую, что неестественно живу, сам понимаю, что творю себе препятствия, что не довольно забываю свое положение, что память уж чересчур верно напоминает мне все подроб-

ности моей участи. Все это я чувствую и понимаю, и между тем не могу ни на волос переменить себя. Рефлекторство так уже сжилось со мною, сделалось до такой степени принадлежностью моего существа, что без него и жизнь мне невозможна. Я надеюсь, вы понимаете, что ведь не по охоте же создаю я себе тысячи призраков, что не по охоте же творю свое собственное несчастье: все это делается против меня, все это точно такой же акт моего организма, как питание, кровообращение и проч. А между тем я понимаю, в чем состоит истинная жизнь, понимаю, что всякая потребность должна вытекать непосредственно из самой природы человека, которая не рассуждает, а сама в себе заключает уже непреложный закон.

И в этом отношении я действительно достоин великого сожаления, хотя и не прошу его. Я, как Спинозино божество, которое ничего не любит, не ненавидит, а только все себе объясняет, ношу в себе все элементы, все стихии жизни, только все это как-то играет страдательную роль, подобно тому, как если б кто, построив машину, забыл ее завести. Кому она нужна? какую пользу приносит этот мертвый капитал?

Видите ли же вы, что обо всем этом я уже рассуждал, и никто более меня не желал бы переменить это тягостное состояние? Что нужды в том, что я определил себя и знаю, что я такое, куда иду и на какой конец, когда я несчастлив? А впрочем, покоримся необходимости, да и кто знает: может быть, частное-то мое назначение в жизни в том и состоит, чтоб определить ее и приготовить возможность пользоваться ею... для других?

ОТ ТОГО ЖЕ К ТОМУ ЖЕ

Все это так для меня ново, так меня поражает, что решительно я теряюсь, не знаю, что мне предпринять. После известного разговора меня несколько времени оставляли еще в покое, и я уже думал, что все это так и кончится. Действительно, она казалась совершенно покойною, по-прежнему говорила со мною, по-прежнему ходили мы вместе в саду – и никогда ни слова о происшедшем между нами, как будто бы ничего и не было, как будто бы все умерло.

Признаюсь вам, меня даже печалило и досадовало несколько такое равнодушие; все-таки было мне жаль этой одной минуты, когда все мое существо как будто трепетало и жило новою жизнью, и мне досадно было, что так мало оставила она следов по себе. Коли хотите, такая жалоба с моей стороны и неестественна, и непоследовательна, и несправедлива; да что ж прикажете делать? видно, нельзя совсем перестать быть человеком, видно, нельзя всегда подводить под готовую мерку все свои движения. Я очень хорошо понимаю, что недостойно и неестественно привязываться к воспоминанию, что нужно жить только в настоящем, что человек чувствует потребность забыться в своем прошедшем только или вследствие отсутствия жизненности в самой натуре его, или вследствие бедности его настоящего; знаю я также, что в этом мгновенном опьянении моих чувств было более томления, нежели радости и света, что я сам желал выйти как можно скорее из этого неопределенного положения и, следовательно, должен был бы скорее радоваться, нежели досадовать на равнодушие Тани. Сознаю я все это, но в том-то и горечь моего положения, что я слаб и не могу победить себя.

Не спорю, что, если это равнодушие продлится, я вовсе перестану, может быть, думать об нем; но в жизни нашей столько случайностей, малейшее обстоятельство подает столько поводов к взрыву затаившейся и полуугасшей страсти, что невозможно предвидеть их всех, невозможно приготовить себя к ним.

Так точно теперь и со мной.

На днях как-то мы сидели вдвоем и читали зандовского «Компанийона». Помните ли вы там сцену признания в любви Маркизы и Амори? помните ли вы обстановку этой сцены, описание ночи, местности и всех малейших подробностей признания? не правда ли, что в нашем взаимном положении не могло быть выбора романа более пагубного, что в этой сцене есть нечто в высшей степени опьяняющее, что чувствуешь, как любовь дошла тут до *non plus ultra*¹ раздражения, что она давит, тяготит, что ей нужно, непременно нужно высказаться, выразиться наружу... И я видел, как жадно прислушивалась Таня к моему чтению, как поднималась и опускалась грудь ее, как все более и более приближалась она ко мне.

Я чувствовал и сознавал все это, – а все-таки читал, тогда как мне следовало бежать. Знаете ли, я был тогда очень жалок, я действовал по какому-то безотчетному инстинкту, даже не понимал более, что читал, и когда она положила руку свою ко мне на плечо, когда почувствовал я на щеках своих жаркое дыхание ее, вся кровь, казалось, хлынула мне в голову, слова останавливались на губах; наконец и самая книга выпала из рук.

И тогда началась между нами одна из тех сцен, которые так легко и вместе так трудно описывать, потому что в них нет ни слов, ни движения; весь смысл их заключается именно в этом упорном безмолвии, когда как будто и язык, и все существо человека скованы – под влиянием тяжелого очарования. Такое положение минутно, потому что тягостно, и человек сам, по невольному, бессознательному инстинкту, делает усилие, чтоб выйти из него, но тем неуловимее ощущения, которые овладевают душой в эту страшную минуту, тем труднее дать себе в них отчет. Когда я вышел из этого оцепенения, голова Тани лежала на плече моем, на губах ее играла едва заметная улыбка; но никогда, нигде не встречал я столько счастья, столько

¹ крайних пределов (лат.)

безмятежной и сладкой уверенности, сколько выражаюсь во всякой фибре этого прекрасного лица. Я был действительно увлечен, и когда она спросила, отчего я перестал читать, все, что накопело в груди моей, все, что было исподволь подготовлено во мне этою сценою, вылилось наружу.

– Зачем читать? – отвечал я, с трудом скрывая свое волнение, – зачем читать? разве и без того непонятно?.. разве вы не видите, что я страдаю, что я болен? разве не чувствуете вы, что все уже сказано и нечего более объяснять?..

– Ну, видишь ли, – отвечала она, не поднимая своей головы, – ведь я знала, что ты меня любишь; я была уверена в этом... и напрасно будешь ты мне говорить, что любовь невозможна для тебя, как будто ей нужно чье-нибудь позволение, как будто она в нас – не против нас!..

Я молчал, потому что в эту минуту всякое слово ее было для меня истиной.

– Послушай, надо исправиться... нужно более жизни, менее рассудка. Зачем же жить, когда нет любви? Что же останется человеку, если отнять у него любовь? на чем отдохнуть, на чем успокоиться от ига жизни, как не на любви, этой поэзии жизни? Не чувствуешь ли ты холода и пустоты своего одинокого, эгоистического существования? не видишь ли ты смерти в самой жизни, когда не согрета она любовью? О нет, ты любишь, ты любишь меня... Я знаю, правда...

И она то по-прежнему играла моими волосами и прижималась головою к плечу моему, то вдруг поднимала мою голову, смотрела мне прямо в глаза и говорила своим мягким, ласкающим голосом: "Без любви нет счастья, без любви холодно, грустно..."

И мне казалось в ту минуту холодно и грустно – без любви, и я в ту минуту помолодел, чувствовал себя здоровым и веселым, и слезы невольно навертывались на глазах, и я целовал ее руки, целовал ее волосы, смеялся и плакал, как ребенок; в груди моей что-то как будто порвалось, как будто наводнило радостью все мое существо

– О, будем счастливы, будем любить! – говорит я, полный восторга, – любовь – смысл жизни, а жизнь благо! Будем же счастливы, и пусть пройдет вся жизнь наша, как один миг – миг вечного самозабвения и вечной любви!

– Да! будем счастливы, будем любить, – повторяла за мною Таня, прижимаясь к груди моей.

Это были сладкие минуты моей жизни, и ничто тяжелое не помрачало моего существования! И теперь скажу я, зачем не вечно остается человек младенцем? зачем приходит рассудок, чтоб отравить жизнь его, чтоб наругаться над лучшим мгновением ее? И не оставит ничего неприкосновенным этот безжалостный судия, до всего коснется, все разоблачит неумолимая рука его, ни одна струна, ни один мускул души не укроется перед трезвым взором его!.. И устремится человек с растерзанным сердцем и горькими-горькими слезами на очах, чтоб уловить эти легкие, мимолетные видения, так светло очаровавшие душу его... и не уловит их: исчезли, исчезли навеки!..

Все это очень грустно, очень тяжело, тем более тяжело, что я сам понимаю всю уродливость своего положения, тем более невыносимо, что я претендую быть всегда логичным и чувствую, что ничтожнейшее обстоятельство может сбить меня с толку. Я вижу, что нужно мне оставить этот дом, что мне нужно бежать отсюда, и, между тем, рядом с этим решением, предстает передо мною другой, еще более для меня страшный вопрос – не будет ли такое решение открытым признанием моей слабости, прямым обнаружением несостоятельности, столькими годами горького опыта добытых убеждений. И между этими двумя крайностями я останавливаюсь в нерешимости, не знаю, что предпринять, не делаю ничего ни за, ни против.

Вы скажете мне, может быть, что тут есть весьма простое средство, а именно: остаться и следовать побуждению природы; да в том-то и дело все, что этого-то побуждения определить я себе не могу, что, с одной стороны, несомненно для меня, что я люблю Таню, а с другой – не менее верно и то, что любовь для меня поступает в категорию невозможностей, что она

захиреет при самом начале, потому что нечем мне поддержать, нечем воспитать ее. Я страдаю глубоко, не видя выхода из этого противоречия, и это сознание так парализовало мои силы, что я остаюсь холодным зрителем своего собственного несчастья. Вы скажете опять, что я сам виновник своего страдания, что я сознательно и хладнокровно устраиваю его, что я артистически, с любовью созидаю себе препятствия. Но вы будете не правы, мой милый, потому что выбор того или другого решения вовсе не от меня зависит. Если б я и общество, среди которого я живу, составляли одно нераздельное, необходимое для взаимного уразумения целое, тогда, конечно, не стал бы я рассуждать, истинно ли такое-то мое побуждение и какие будут от него последствия – я знал бы наверное, что оно истинно и что последствия, каковы бы они ни были, могут принести мне только вящее благосостояние и пользу. Но теперь я и действительность – два понятия совершенно различные и взаимно друг друга уничтожающие, и если я желаю, то могу только ценою крови, ценою борьбы оправдать свое желание. Что нас убивает – это недостаток исхода нашему эгоизму, это то, что всякий шаг наш есть уже борьба, что вся жизнь наша направлена необходимостью на такие предметы, к которым мы не чувствуем ни привязанности, ни склонности. Поэтому всякий труд сделался для нас тягостью невыносимую, работою египетскою, и потому куда ни обернетесь вы, везде люди действуют как бы нехотя, все движения их запечатлены каким-то вялым равнодушием, везде долг, везде принуждение, везде скука и ложь... Пора нам, наконец, оправдать себя в этом уродстве, пора сознать, что не мы виновники своего несчастья, что так называемая свобода есть просто произведение нашей праздной фантазии, самообольщение горделивого духа нашего, что вся свобода наша состоит в безмолвном повиновении царящему над всем сущим закону необходимости.

И как, например, могу я запретить себе анализировать свое положение, когда при одном слове любви в уме моем уже восстают тысячи препятствий, тысячи призраков? Во-первых, если я позволю себе увлечься своим чувством, не ждет ли меня новая борьба – борьба страшнее всего, что я испытывал в жизни, ибо доселе я старался устроить свое положение только так, чтоб в нем была возможно меньшая сумма зла, более оборонялся, нежели наступал; теперь же я положительно желаю счастья... и вы думаете, что мне дадут его, не высосав наперед половины моей крови? Бедняк, и об чем задумал! Да, меня удавят, а что всего страшнее, удавят не одного – и Таня за мной пойдет! А если и не так, то я умру с голода и ее уморю! Вот какая перспектива передо мною! И напрасно будете вы говорить мне, что можно своими трудами достать себе кусок хлеба, хоть и не роскошный, а все-таки с голоду не умрешь. То-то не роскошный! Вы бы поели этого хлеба! Да и вздор, утопия, мой милый, мечтание – трудом добывать себе хлеб! разве унижением – это другое дело, а на это тоже нужна своя сноровка, нужна опытность, которой я не мог еще приобрести. Со временем, что мудреного – сила солону ломит! – и я, может быть, приобрету это волшебное искусство нравиться, искусство проникать в чужие карманы, которым обладают столь многие, – да ведь все это со временем, а теперь...

Рассудите же сами, прилична ли мне любовь, не роскошь ли это для меня, когда я должен заботиться о насущном хлебе, когда я на минуту не могу забыть без того, чтоб эта минута не повлекла за собою целой вереницы страданий! И вы думаете, что это совместно? что можно в одно и то же время и любовь водить, и об обеде думать? Да знаете ли, ведь любовь-то убьет во мне всю энергию рассудка, ведь я расплывусь в этом чувстве, я умру с голода, и она умрет со мною! И какой точный, определенный язык у этой действительности: или люби, да и умирай же с голоду; или ешь черствый кусок хлеба, да уж и не моги помыслить о чем-нибудь другом! Да-с, женщина, это, извольте видеть, такой *object de luxe*,² который может позволить себе только богатый человек, а бедному – тому, для кого она и смысл, и значение имеет, такая игрушка непозволительна!

² предмет роскоши (франц.)

Так вот к каким результатам приводит меня трезвый взгляд на мое положение! Конечно, если б я следовал только первому своему движению, я бы давно увез Таню; да в том-то и сила человека, потому-то он и глава создания, что прежде всего он предусмотрителен.

А между тем я все-таки ни на чем не остановился. Когда я один, когда не волнуется во мне кровь, я спокоен, я чувствую в себе решимость и силу, но когда приходит ко мне Таня с своею детски доверчивою улыбкою, с своими увлажненными глазами, когда, склоняясь головою на плечо мое и полуулыбаясь, спрашивает она меня: "Ну, что, одумался ли ты, неверующий человек, доказал ли ты себе наконец, что любовь возможна для тебя?" – я ничего не нахожу в ответ на слова ее, я сам и смеюсь, и плачу, я сам делаюсь ребенком, таким же, как и она, целую ее руки, целую ее волосы, платье и по целым часам бегаю как безумный с нею по саду... Ну, не грустно ли?

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА ТАНИ

Чем более я думаю, как отказаться от этой несчастной страсти, как истребить ее в сердце своем, тем более преследует она меня и овладевает всею душою моею. В ней вся моя погибель, в ней же и все мое счастье, – кто поймет, кто объяснит мне это?

А между тем это так. Я чувствую, как разбивается жизнь моя об это чудовищное бессилие, вижу, что все мое существо гибнет и гаснет в этой бесплодной борьбе, и, однако ж, я не могу ничего против этого, не могу сказать сердцу своему: перестань любить.

Ну, не страшно ли такое положение, не в состоянии ли оно свести в гроб самые цветущие силы, разбить самую крепкую грудь? И на чью долю выпало такое страдание? на долю бедной девочки, одинокой, слабой, без опоры! Правду сказать, знает же судьба, кого наделить своими ударами! И часто, в те минуты, когда зашевелится и взволнуется вся горечь, которая малопомалу скоплась и зрела на дне души моей, мне делается тяжело и душно, и я не знаю, куда деваться, куда склонить голову от тоски, которая гложет и изводит мое бедное сердце.

Куда же ты скрылась, куда исчезла ты, радость моей жизни? Где, в какой далекой стороне, летает чистая душа твоя, милая, добрая мама? Счастлива она там, среди божиих ангелов; не знает она ни горя, ни страдания: все в ней радость, все упоение! Скажи же мне, мама, я-то зачем же томлюсь и гибну в этой страшной темнице, зачем же у меня нет крыльев, чтоб полететь на это роскошное, синее небо? Раскинулось оно без конца и вдаль и вширь, все усеянное светлыми звездами! Вот и она, далекая звездочка моей мамы, смотрит себе ясно и спокойно на людей, и нет ей дела до тревог и волнений их! Ей нечего жалеть, нечего искать, не о чем заботиться: в себе самой обрела она и счастье, и спокойствие, и мир! Посмотри же на меня, светлая, переходная звездочка, брось радостный луч надежды в растерзанную, истомленную грудь мою! Стонет, плачет мое бедное сердце, и нет конца неисходному горю!

Забвения, одного забвения прошу я у жизни: пусть одеревенеет, оледенеет мое сердце, пусть спокойствие, хоть могильное, сойдет на душу, и не надо мне ни радости, ни любви, ничего, чем красно и сладко существование как-нибудь, день за днем, дотащила бы я до конца безотрадную жизнь.

И между тем сколько силы, сколько молодости растрачено в этих бесплодных стремлениях! И никто не узнает, как жгуче и невыносимо это молчаливое горе, никто не догадается, что есть в мире сердце, которому нужна помощь, есть душа, которая вянет среди сомнений, гнетущих ее... Ходят, шевелятся вокруг меня люди, но все это как-то злобно, неприязненно смотрит на чужое горе, все отворачивается и как будто говорит: что ты навязываешься с своим бессильным страданием? посмотри! все вокруг тебя заняты, все ищут и хлопочут; ты одна без дела, ты одна лишняя на свете! Боже мой! да виновата ли я, что у меня связаны руки, что спутано и оцеплено все мое существо? Виновата ли я, что мне заграждены невидимую, но жестокою рукою все пути, чтоб выйти из тяжкого моего положения? Отчего же, за какое страшное преступление так наказана я? Настанет ли наконец для меня та минута, когда просветлеет и просияет жизнь моя; скоро ли займется вновь заря, так рано потухшая на бледном горизонте моего существования, или долго еще страдать и томиться мне в этой холодной темнице, и никогда не проглянет солнце в черной ночи ее?..

Сегодня вечером все мы, не исключая даже и Марьи Ивановны, катались по озеру. Погода была чудесная, золотые лучи умирающего солнца дрожали и переливались на едва приметных струйках дремлющего озера; вечерний ветерок чуть-чуть рябил ровную поверхность воды, как неясный, но полный прелести ропот, долетали до нас отдаленные песни крестьян, возвращавшихся с работы; все дышало таким тихим, безмятежным спокойствием в этой чудной картине сельского вечера; даже тростник, поросший вокруг озера, – и тот как будто притаился и приткнулся к воде, и ласточки спрятались в свои теплые гнезда.

Что это, как хорошо, как отрадно кататься вечером по озеру! как легко и свободно дышит грудь в этом влажном воздухе! И все как будто помолодели, повеселели мы, и отец стал как-то ласковее, добрее смотреть, и Марья Ивановна только для проформы делала разные хозяйственные замечания, а о детях и говорить нечего: смеются и бегают по плоту и, наверное, опрокинули бы его, если б не слышался изредка строгий голос Марьи Ивановны, запрещающий им шалить. Один Нагибин был как-то грустнее и задумчивее обыкновенного: во все время не сказал он почти ни слова, и как ни старался отец, но не мог успеть расшевелить его.

Наконец пора было и к берегу. Отец пошел с Марьей Ивановной домой, а мы с детьми в сад, и когда братья были далеко от нас, Нагибин подошел ко мне.

– Вы позволите мне сказать вам несколько слов, Татьяна Игнатьевна? – спросил он.

– Сколько угодно, Андрей Павлыч; сядемте на скамейку.

Но он молчал и, казалось, обдумывал, как начать разговор.

– Что же вы задумались, Андрей Павлыч? – сказала я, – вы хотели что-то передать мне?

– Да, я хотел вам сказать... да, право, не умею, как выразить.

– Стало быть, это очень дурно, друг мой, что вы не решаетесь высказать мне мысль свою?

– О нет, тут нет ничего дурного! да вы все так принимаете к сердцу. Право, я не знаю...

– Боже мой, что это за мука! Да скажете ли вы, наконец, что вас так сильно занимает?

– Меня занимает... Послушайте, Татьяна Игнатьевна, вы должны одобрить мое решение... оно необходимо как для вашего, так и для моего спокойствия...

– Какое же это решение?

– Вот видите ли; сегодня я много думал, отчего вы так грустны с некоторого времени, отчего вы с каждым днем увядаете.

– Ну, так что же, Андрей Павлыч?

– Да ведь это я вас так измучил, я с своим несносным бессилием; это от меня вы так страдаете, доброе дитя мое! Еще если б я один – я перенес бы все; но видеть, как вы каждую минуту умираете, как вы томитесь, – эта мука выше сил моих!

– Так вы решились... ехать отсюда?..

– Могу ли же я оставаться, милая Таня?

– И вы думаете, что ваш отъезд поможет моему горю, Андрей Павлыч?

– Кто знает? может быть... О, это все мое желание, все моление мое! Это дало бы спокойствие моему сердцу. Время все изглаживает, время великий врач всех недугов, особливо сердечных...

– Вы думаете, Андрей Павлыч? вы думаете, что и вдали от вас мое сердце не будет всегда и везде с вами?

– Кто знает?

– О нет, я знаю, Андрей Павлыч. Видите ли, вы никогда не любили в жизни – вы и не знаете, и не мудрено, что вам кажется, будто время все изглаживает, все исцеляет. А если оно, вместо того чтоб заживить мои раны, только растравит их?

Я взглянула ему в лицо и сама ужаснулась его мертвенной бледности; казалось, несносная тяжесть удручала и жала ему грудь и не позволяла вздохнуть свободно.

– Что с вами, Андрей Павлыч? – сказала я, взяв его за руку, – зачем же так сильно принимать все к сердцу?

– Что же делать, на что же решиться мне? – прошептал он едва слышно. – Боже мой, боже мой! где же конец, где же граница этому страданию!

– Перестаньте же, Андрей Павлыч; вы видите, что меня мучит ваше страданье; бросимте говорить об этом; пусть будет, что будет, – зачем загадывать вперед. Вы что-то больны сегодня, друг мой.

– Да, болен я; но в том-то и дело, что я всегда так болен, добрая, милая Таня; в том-то и дело, что нет конца этой мучительной болезни, что я сам чувствую, как сводит она меня малопомалу в могилу... Хоть бы поскорее, хоть бы разом покончила она со мною!

– А я-то, а обо мне-то и забыли вы, Андрей Павлыч? я-то с кем же останусь? и вам не жаль меня будет? не жаль? а, Андрей Павлыч? что же вы молчите?

– Что же мне отвечать вам? Жаль! мало ли чего мне жаль, Таня, мало ли чего бы я хотел? Да я такой маленький человек, что не должен желать чего-нибудь безнаказанно! Сожалеть? пожалуй, сожалеть, да что будет в том проку, подвинемся ли мы оба хоть на шаг от этого? Ах, зачем свела меня с вами судьба! шли бы мы каждый своею дорогой, дотянули бы как-нибудь до смерти!

– Ах, боже мой! к чему же эти мысли, друг мой? Зачем мы встретились? кто ж это знает? и зачем вам непременно нужно объяснить себе это? Мы встретились – это была случайность; мы полюбили друг друга – это было необходимым последствием нашей встречи! Зачем же везде хотите вы видеть что-то особенное, какое-то злобное преследование судьбы? зачем все эти вопросы, Андрей Павлыч?

– Зачем? Спросите лучше, зачем всякое явление раздвояется в моих глазах; зачем ни на один вопрос не может рассудок мой отвечать откровенно: да или нет; зачем в одно и то же время рождается в моей душе тысяча оправданий и тысяча опровержений? Ваше молодое сердце не может постичь, сколько жгучего страдания в этой странной жизни, где не на чем успокоиться рассудку, где беспрестанно думаешь упираться ногами в землю, и беспрестанно колеблется и уходит она из-под ног!

Он задумался; голова его медленно опустилась на грудь; на бледном лице выразилась тихая, безмолвная горесть; как будто вдруг сделалось спокойно и светло в душе его, как будто чувствовалось уж в этом грустном взоре будущее примирение.

– Ужасны не самые лишения, – сказал он дрожащим голосом, – не сама бесцветность и бедность жизни гложет душу – ужасно сознание возможности счастья, сознание всей обаятельной сладости удовлетворенной страсти, которое, на горе бедному парию, является воображению его в самые трудные минуты его жизни! Видеть счастье во всей чудной полноте его, осязать руками эту таинственную чашу блаженства, предмет столь долгих и мучительных помышлений человека, и в то же время сознавать, что никогда губы его не прикоснутся к ней, – вот пред чем цепенеет мысль человека, вот где истинное бедствие его положения!

И долго удерживаемые слезы ручьями полились из глаз его.

– Сознать разумность и необходимость любви, – сказал он, рыдая, – и сознавать невозможность и неразумность ее! любить и не любить! Да где же тут смысл, кто поймет это?

И я не могла удержаться, и я с рыданием упала на грудь его и целовала ее.

– О, плачьте, плачьте, друг мой! – говорила я, – и пусть в этих слезах все дотла выплачется безотвязное горе, которое тяжелым камнем легло на душу вашу, и пусть никогда не возвратится эта черная туча сомнения, омрачившая светлый день нашей жизни!

И он, казалось, повеселел и помолодел, улыбаясь сквозь слезы, глядел на меня и нежно прижимал меня к груди своей.

– Ты-то что плачешь, Таня? – говорил он, – ты-то об чем горюешь, милое дитя мое? тебя-то за что заставляю я страдать, добрый ангел мой?

– О нет, я не страдаю, я весела, мне так хорошо, так спокойно теперь у тебя на груди... Слышишь, как бьется твое сердце, как радо оно этим теплым, живительным слезам!

– Да, мне легко, мне свободно в эту минуту, милая Таня, все во мне любовь и упоение, и нет следа тяжелым сомнениям, которые еще за минуту висели надо мною... Повтори же мне, друг мой, не правда ли, ведь его уж нет, он не стоит уж между нами, этот страшный призрак, который мешал нам жить, мешал нам любить друг друга? И мы можем свободно дышать, можем посмеяться над этим старым пугалом, потому что мы сильны своею любовью, и нет в

мире препятствия, которого бы не сокрушили мы! Так ли, дитя мое, радость моя, так ли я рассуждаю теперь? хорошо ли ведет себя воспитанник твой, стоит ли он поцелуя своей доброй наставницы?

И он привлек меня к себе и посадил на колени.

– Ведь это все вздор, что я прежде говорил тебе? ведь неправда, будто любовь невозможна, будто она неразумна?.. Ах, боже мой! да, стало быть, она возможна, стало быть, разумна, коли она есть, коли ею живет и трепещет все существо мое? Так ли, добрая Таня?

Я сама удивилась, как быстро и как совершенно произошла в нем такая перемена, как внезапно всякое слово его приняло жизнь и задышало страстью.

– Таня, а Таня, – сказал он, дрожа от волнения, – зачем эта косынка на груди твоей, зачем она мешает?.. Сними ее, брось ее дальше, чтоб не было ничего между тобою и мною. Ну, полно же, полно, дитя, – продолжал он, удерживая меня, – ведь это я так... это пройдет... ты не сердись на меня, друг мой?

И он обхватил обеими руками мою голову и долго вглядывался в глаза мои, как будто хотел высмотреть в них самую затаенную мысль.

– А знаешь ли, зачем я так долго вглядываюсь в глаза твои, Таня? Я смотрю, как отражается в них это чудное летнее небо, которое так роскошно раскинулось над нами. Вон блеснула и задрожала в них далекая звездочка. К кому-то послана ты? чью-то судьбу хранишь ты? Ах, вон и упала она... и нет больше звездочки! А слыхала ли ты? говорят, будто в минуту падения звезды непременно кто-нибудь умирает! Ведь не правда это, Таня, ведь это всё глупые люди выдумали: в эту минуту все живут, все счастливы? так ли, Таня? так ли, дитя мое?

Но я боялась и не смела прерывать это детское упоение, которым он сам, казалось, так жадно любовался, как будто страшился потерять одну минуту счастья, как будто всяким мгновением хотел он воспользоваться и извлечь из него возможную сумму наслаждения.

– Ах, что за чудные, что за мягкие у тебя волосы, Таня! – сказал он, играя моими локонами и целуя их, – только одного мне жаль, дитя мое...

– Что же так печалит тебя, друг мой?

– Не знаю отчего, – сказал он сквозь слезы, – а мне все приходит на мысль, что все-таки нам жить розно, все-таки не сойтись.

– Ах, боже мой! опять эти грустные мысли! да брось их, выкинь их из головы, друг мой.

– Нельзя, Таня, нельзя! Вот видишь ли: это так ясно, так очевидно, что само собою, против меня, приходит мне на мысль.

И в голосе его было столько страдания, когда он говорил это, что сердце мое надрывалось от горести, и я снова бросилась рыдая к нему на грудь.

– Ну, вот ты и опять плачешь, странный ребенок! Жаль мне тебя, милая, жаль, потому что я замучаю, изведу тебя своими бреднями! Ах, брось, забудь меня, Таня... Ну, не горя же, посмотри на меня, бесценное сокровище мое, поцелуй меня...

– Забыть! тебя забыть? – говорила я, целуя грудь его, – да что же будет тогда с жизнью моею? неужели опять возвратится эта пустота, эта неизвестность? О нет! пусть лучше страдание, пусть горе, пусть хоть что-нибудь – только не возвращаться к этой грустной, бесцельной жизни!

– Бедное дитя! да смерила ли ты силы свои? станет ли у тебя бодрости, чтоб бороться, всегда и везде бороться? Ведь это страшная жизнь, ведь нужно железные мышцы, чтоб устоять в ней! Она режет, она давит, она отнимает последнюю искру рассудка, эта грозная действительность, и нигде не скроешься, никуда не убежишь от нее!

– Пусть давит, пусть режет она! Моя любовь защитит меня от ее ударов. Как ты не хочешь понять, что я сильна своею любовью, что нет для нее ни преград, ни препятствий?

– Бедная Таня! – сказал он со вздохом, – а что, если ты ошибаешься?

И он крепко прижал меня к сердцу.

Было уже довольно поздно; таинственный сумрак спустился на сад и придавал ему какой-то фантастический, обманчивый колорит; холодная вечерняя роса падала на утомленную дневным зноем землю; над озером вился легкий, прозрачный туман; из аллеи долетал до нас резвый шум и хохот детей, но как-то смутно, невнятно, оба мы были в каком-то упоительном забвении, и оба не могли сказать друг другу слова, как будто невидимое очарование сковало язык и оцепенило все существо наше.

И величественною красотою блистало над головами нашими далекое небо, и, весело шумя зелеными листьями, склонялась душистая черемуха, осеняя любовь нашу...

Я так еще полна вчерашним разговором! передо мною еще так живо носится воспоминание этой благоухающей минуты, в себе одной поглотившей всю прошедшую, безотрадную жизнь мою! Но странное дело! это счастье как-то различно действует на нас; во мне оно пролило какой-то неведомый избыток жизни, дало силу и энергию всему существу, я весела, я радуюсь, я так довольна собою, что все готова забыть, все простить, готова всех обнять и прижать к сердцу.

Он, напротив, так угрюмо и скучно смотрит на все, как будто еще большая тяжесть, большее бремя налилось ему на душу, и все избегает встреч со мною, и беспрестанно или сидит около детей, или нарочно удерживает отца, как только видит, что нам приходится остаться наедине.

Да погодите же, я поймаю вас, не увернетесь вы теперь от меня, Андрей Павлович! В вас опять зашевелились эти несносные вопросительные знаки, вы опять хотите как-нибудь отлавировать от решительного ответа, да я вас не оставлю, я допрошу-таки вас, поставлю на своем, и будете же вы мой, и будете вы чувствовать и рассуждать не так, как вам вздумается, а как я позволю. О, вы меня не знаете, Андрей Павлович! ведь я ужасный деспот, у меня всё на военную ногу, никогда никаких рассуждений, и все делать, как приказывает начальство!

Зато как мы весело, счастливо будем жить, друг мой! как будем любить друг друга! И не думайте, чтоб я воображала себе богатство, великолепие – совсем нет! Я знаю, что будут у нас лишения... да, боже мой! в чьей же жизни нет своих маленьких неприятностей, своих огорчений! зачем же нам одним составлять исключение?

И лучше ли было бы, если бы не существовало для нас этих лишений, если бы все, что бы ни захотели мы, являлось вдруг навстречу желаниям нашим? Да ведь нам скоро надоела бы эта безнуждная жизнь, ведь мы соскучились бы, утомились бы, друг мой; ведь только горем бывает понятна радость, только лишением дорогого удовлетворение!

А я буду так лелеять, холить тебя, любимое, больное дитя мое! и мигом сгоню незваное и непрошеное горе с лица, мигом развеселю и утешу моего милого баловня! Ведь в том-то и обаяние любви, в том-то и прелесть любимой женщины, что есть кому поверить тайную мысль, есть на чьем сердце выплакать безотвязно преследующее сомнение. Вот и ты, мой друг, что теперь в твоей бедной, одинокой жизни? счастлив ли ты, доволен ли? можешь ли хоть на минуту забыться, оторваться от грустной действительности? Нет, грустен, страдаешь ты, потому что затвердел на сердце твоём этот больной нарост, весь составленный из сомнений и противоречий, и некому расшевелить их, некому облегчить твое бедное сердце! Одна любовь может вылечить болезнь твою; она одна в состоянии размягнуть твое сердце, просветлить все существо твое; ее могущество сделает легким тяжелое бремя, которое суждено нам нести, <нрзб> жестокое иго, которое тяготееет на нас!

Да и будто одни лишения, одни горести ожидают нас впереди? Будто в нас самих не представляется нам неисчерпаемый источник разнообразных и всезаменяющих наслаждений? Будто непременно нужен блеск, нужен шум для нашей любви, будто не все радость, не все упоение в этой тихой, семейной жизни, среди тесного кружка друзей, где все мыслит одною мыслью, чувствует одним чувством, где все дышит такою светлою безыскусственною тишиною?.. Ах, друг мой, скорее в этот уютный уголок! подальше от людей и холодных расчетов

их! запремся от них крепко-накрепко в неприступной крепости нашей, и пусть идет мимо бес- сильная злоба их, и не достигнет нас дрожащею от зависти рукою пущенные стрелы их!

А притом же, ведь у нас будет семейство, будут дети! Ведь у нас будут дети? не правда ли, непременно будут, друг мой?

Ах, что это за чудное чувство быть матерью! Я и теперь так люблю этих милых крошек и смотрю – не насмотрюсь, не налюбуюсь ими! Что же это будет, когда у меня будут *свои* дети, *свои* милые ангельчики, и будут они резвиться, бегать вокруг меня, будут называть меня своею милою, доброю мамой? Да и будет же любить вас эта баловница мама, будет она целый день играть с вами, чтоб ни одной минуты не знали вы скуки, чтоб всякое мгновение вашей жизни было для вас радостью и счастьем! И когда наступит ночь и начнут смыкаться от сна ваши глазки, засыпайте спокойно на маленькой кроватке вашей, и пусть снятся вам божиим ангелы, пусть ничто не смутит этого беззаботного сна невинности: за вами всю ночь будет следить зоркий глаз вашей мамы, всю ночь не уснет она, лишь бы вы были счастливы, светлые мои ангельчики!

И пусть не смеет сердиться старый ворчун папа, если ему надоест ваш резвый шум, – не то сейчас заставим мы его самого играть и бегать с нами! О, мы сумеем управиться с ним! Ведь он один, а нас много, и притом у нас столько средств, столько силы!

Голова у меня кружится, сердце бьется в груди, как будто выскочить хочет, когда я думаю обо всем этом! И как весело бегаю я одна по саду, прощаюсь с каждым уголком его, как будто и не видать мне его никогда, как будто и началась уж для меня эта новая, обаятельная жизнь!

Что же вы то не развеселитесь, что же вы-то так угрюмо, печально смотрите, Андрей Павлович? Или вам все еще не верится этой полноте счастья, или вы уж так запуганы жизнью, что боитесь отдаться ей, боитесь, не обманывает ли вас она снова, нет ли тут какой-нибудь хитрости, какого-нибудь силка? Разуверься же, милый резонер мой! счастье есть, любовь существует: она бьет и рвется ключом в моем сердце, а ты знаешь, что я не страдаю эгоизмом!

И давно ли, давно ли, боже мой, в этом журнале были только печальные строки? давно ли в этом сердце жили только страдание и безнадежность? и вот уж два дня, как я совершенно счастлива, два дня, как всякое слово моего дневника дышит радостью и упоением!

И как <нрзб>, как тепло все смотрит вокруг меня! И говорю я, не наговорюсь, целый день все бы смеялась, все бы бегала, все бы я болтала без умолка! Даже отец заметил Марье Ивановне эту необыкновенную веселость, а Марья Ивановна – такая, право, хитрая! – лукаво улыбаясь, отвечала: "Чего ж тут мудреного, батюшка, что девка сама не знает, чему радуется? уж такие ее года: пора и к месту, пора и женишка приискать!" И отец засмеялся и погрозил мне пальцем. Бедные! они и не подозревают, отчего я так весела, они и не воображают себе, что тут нечего ни приискивать, ни пристроивать, что без них уж все сделано, без них пристроено!

Видно, это ты, милая мама, помолилась за меня богу; видно, донесла до тебя наконец светлая звездочка весть о твоей бедной дочери! Посмотри же на меня из чудной обители твоей, порадуйся же моему счастью, благослови меня <нрзб> далекий путь моей новой жизни!

Но пора, однако ж, тушить свечу и ложиться спать... Ах, боже мой, как не хочется мне нынче расставаться с своим журналом! А делать нечего – нужно! Что-то я буду видеть во сне, увижу ли я вас, мои светлые ангельчики, мои милые дети? Буду ли я убаюкивать вас и петь над вами тихую колыбельную песенку, или будем мы вместе резвиться и бегать до упада в нашем крошечном, уединенном садике?

ОТ НАГИБИНА К г. NN

На днях я встретился с общим нашим знакомым и старым товарищем, Гуровым. Он оказывается соседом Крошиных и приезжал к ним с отцом своим. Встреча эта много позабавила меня, потому что редко видал я более комическую группу, как господа Гуровы, отец и сын. Оба они пристрашные сантименталы, "словечка в простоте не скажут, все с ужимкой"; сын, как видно, обрадовался свиданию со мною и тотчас же рекомендовал отцу, как собрата своего по Аполлону. Такая неожиданная рекомендация, признаюсь, несколько смутила меня, потому что, как вам известно, я довольно давно уже не предаюсь никакому разврату, и в этом духе выразил я Григорию Александровичу свое сожаление, что не могу оправдать рекомендацию его сына.

– Жаль, очень жаль, почтеннейший Андрей Павлыч, поэзия – это, так сказать, ядро, центр нашей жизни, это, извольте видеть, душа; без поэзии мы простые смертные, без нее у души нашей нет крыльев взлететь к своей первобытной отчизне...

На это я отвечал ему, что не всем же летать на небо, что тут одни избранные, а мне, как простому смертному, ничего более не остается, как пресмыкаться по земле.

Наконец мы как-то остались наедине с молодым Гуровым.

– Ну, что поделяваете, почтеннейший Николай Григорьич? – спросил я его.

– Право, не знаю, как вам сказать: пользуюсь воздухом, читаю моих любимцев – и вполне счастлив, одного только как будто недостает мне, это – любви.

– Только-то! Так можно, стало быть, вас поздравить: вы счастливы!

– Да, я счастлив, – отвечал он со вздохом, – приезжайте к нам, мы вместе вспомним о прошедшем, позабудемся в сладком чаду давно минувшей юности, вместе будем беседовать с природою...

– Извините меня: я что-то уж поотвык, да и вообще восприимчивая способность во мне как-то тупа.

Он с чувством пожал мне руку.

– Вы страдаете, вы разочарованы? – сказал он таинственным голосом, – и вас сломила эта презренная действительность? О, как я рад, что узнал вас, что встретил наконец человека, который может понять меня! И я тоже страдаю, и я разочарован, и я несчастлив! Брат! дай мне руку!

– С удовольствием, если это вам приятно, – отвечал я и подал ему руку. – Да как же вы мне сейчас только что говорили, что вполне счастливы?

– Да; когда я один, когда я далеко от этих людей-крокодилов, как сказал великий британец, когда я один на один с моею природою, когда надо мною, вечно зеленея,

Темный дуб склоняется и шумит.

– Помилуйте, Николай Григорьич! да у нас и не растут вовсе дубы!

– О! это ничего! внутри меня вселенная... О, я желал бы умереть!

– Да зачем же вам умирать? Подумайте, что по смерти вы не могли бы ни беседовать с природою, ни носить в груди вселенную, что, я думаю, должно быть весьма лестно, хоть и не легко.

– О нет, ты не понимаешь меня, брат мой! Глаза твои подернуты еще пеленою, которою покрыла их действительность – холодная и безотрадная! Умереть, умереть – уснуть, как говорит божественный Гамлет... О, будь моим другом!

– С удовольствием; только, право, не знаю, буду ли я в состоянии удовлетворить вашим требованиям: я человек простой, хочу жить, а умирать не желаю.

– О, зачем говоришь ты мне *вы*? Зачем называешь ты меня Николаем Григорьевичем?

Что имя! Звук пустой!

Ненавистная оболочка, от которой я хочу освободиться! Называй меня братом своим.

– Отчего же? и это можно, любезный брат мой, – отвечал я.

В это время подошла к нам Таня, еще издали увидев ее, брат мой стал поправлять на себе жилет и галстук и приглаживать свою прическу.

– Здравствуйте, Николай Григорьич, – сказала Таня, – здоровы ли ваши сестрицы?

– О, они здоровы! – отвечал он иронически, – они не могут быть больны, им неизвестны страдания!

– Я очень рада.

– А я признаюсь вам, сударыня, я жалею, что им незнаком этот очистительный огонь души...

– Как вам нравится наш сад? – спросила Таня.

– О, прелестен! Я только что говорил об нем с моим другом: он вполне меня понимает! Этот человек, – продолжал Гуров с возрастающим жаром, – под холодную личиною таит нежное, любящее сердце!

Таня улыбнулась.

– Послушайте, однако ж, Николай Григорьич, – сказал я, – не слишком ли увлекает вас ваше расположение ко мне?

Но он ничего не отвечал: он вперил свои очи к небу и был, казалось, в упоении; когда Таня ушла, он взял меня за руку и сказал:

– Извини меня, брат мой, я не открыл тебе лучшей страницы моей жизни: я люблю, я любим... Не правда ли, какое чистое, небесное существо?

– Об ком это вы говорите?

– Я бы сказал: об ангеле, но я на земле, а люди называют ее Таней... Не правда ли, сколько любви, любви безграничной в ее глазах?.. О, я люблю ее, и отец обещал мне сегодня же поговорить с Игнатием Кузьмичом.

– Отчего вам и не жениться? это партия недурная: у нее пятьсот душ!

– О нет, ты не понимаешь меня! Что презренное богатство? я не продаю души своей!

В таком духе продолжался наш разговор почти весь день, насилу я мог освободиться от докучливого любовника природы.

Когда она уехали, я рассказал Тане намерения Гурова, подшучивая над нею, что я знаю все, что Гуров проболтался мне, что она его любит. Но она только рассмеялась на мои слова, назвала меня ревнивцем и ушла в свою комнату. За ужином, однако ж, она была что-то скучна, и когда мы встали из-за стола, подошла ко мне и позвала с собою в сад.

– Ты не обманываешь меня, – сказала она, – Гуров хочет просить мою руку?

– Нет; он сам мне сказал это, и я думаю, что отец его уж говорил с Игнатием Кузьмичом.

– И ты так равнодушно говоришь об этом?

– Да разве плакать надобно? Пожалуй, я...

– Нет, зачем же? Не трудитесь... так это верно?

– Зачем мне обманывать?

Таня заплакала.

– Разумеется, – сказала она дрожащим от слез голосом, – зачем тебе обманывать? Уверь меня, уверь больше. Так уж это решено? Ведь меня отдадут ему? Не правда ли?

Не знаю, что было со мною в этот вечер: хотел ли я вознаградить себя за целый день скуки? только я был до чрезвычайности весел.

– Послушай, Таня, – сказал я, – ну, что ж, если ты и выйдешь за него замуж?..

– Разумеется, разумеется, если я и умру, так ничего! кому какое дело! Никто и слезинки не проронит, как будто бы и не было Тани, как будто никого и не любила она!

Она замолчала и отвернулась от меня.

– За что же ты сердись на меня, Таня?

Молчание.

– Таня! а, Таня! что ж ты молчишь?

– Что мне говорить? Я все уж сказала; ведь вам все равно. Ну, выйду замуж за Гурова, буду счастлива... Чего же более?

– Да ведь ты его любишь, Таня?

Нет ответа.

– Он сам сказал мне это, правда?

– А правда ли, что у вас под холодной личиною таится нежное и любящее сердце?

Я засмеялся, Таня тоже улыбнулась.

– Ведь ты обманываешь меня! – сказала она, – зачем же так мучить? Не стыдно ли? А впрочем, знаешь что? мне даже жалко, что Гуров не хочет на мне жениться.

– Это почему?

– Да ты на что-нибудь решился бы тогда...

– На что же я мог бы решиться, Таня?

Но Таня улыбнулась и ничего не отвечала.

– Впрочем, – сказала она, – так как ничто нам еще не угрожает, то нечего и говорить об этом.

И мы расстались. Признаюсь вам, эти слова немало меня беспокоят; я сам не знаю наверное, будет ли просить Гуров руки Тани, но это дело весьма возможное, и я ужасаюсь и предугадываю последствия, которые поведут для меня за собою эти переговоры. Прошу вас, если вы меня любите, дать мне какой-нибудь ответ, как поступить мне в этом случае, потому что сам я решительно не могу ничего придумать для своего спасения. Я столько натерпелся в жизни голода, холода и всяких щепетильных преследований, что, признаюсь, рад был хоть несколько отдохнуть, и если не был счастлив, зато и несчастлив не был. А теперь опять заботы, опять хлопоты, опять страдание! А я было заперся совсем и так рад был своему спокойствию! Что ни говорите, а избегать зла в природе человека; обладание же Таней, в настоящую минуту, для меня решительное зло. Это так несомненно, так логически доказал я себе, что никакие доводы не убедят меня в противном. Бога ради, пишите мне, научите, что мне делать, потому что, без всяких шуток, положение мое невыносимо: я и себя и ее мучу, и себя и ее обманываю.

Жду письма вашего с нетерпением и надеюсь, что вы не забудете меня. Помните, что я в таком оцепенении, что не могу сам выйти из него, что нужен какой-нибудь внешний толчок, чтоб разбудить меня от этой мертвой апатии и вытолкнуть вновь на ровную дорогу, с которой я сбился.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА ТАНИ

Наконец сегодня утром позвали меня к отцу. Он сидел в своем кабинете с Марьей Ивановной; перед ним лежало на столе распечатанное письмо, и портрет покойницы мамы, обыкновенно задернутый занавескою, на этот раз был открыт: все заранее было рассчитано, чтоб произвести сильный эффект. Отец начал первый.

– Милая, – сказал он торжественным тоном, которым вовсе не шел к его лицу, – в вечной заботливости о твоём счастье, я и Марья Ивановна...

Он остановился, закашлялся и не знал, как продолжать; я тоже стояла и ждала.

– Так вот, видишь ли, друг мой, я и Марья Ивановна, заботясь о твоём благополучии...

И опять остановился.

– Что ж ты, батюшка? язык, что ли, проглотил? – прервала Марья Ивановна, – что это с тобой сделалось? иной раз не уймешь, а вот как дело, так у него и языка нет.

– Эка баба, эка проклятая баба! – сказал отец, – слова вымолвить не даст! Ведь это дело деликатное, баба ты, баба-наседка, нужно это дело издалека повесть, нужно обдумать... то-то, говорил я тебе пословицу-то, помнишь? а все суется – экой собачий нрав! Все бы мутила да пакостила! Черт, право черт, прости господи мое прегрешение! сатана сидит у тебя в сердце, сударыня!

И я все стояла и ждала, к чему поведет это предисловие.

– Так вот, видишь ли, Таня, – снова начал отец, – вот мы с Марьей Ивановной... дьявол, а не женщина! сатана, сударыня, сидит в тебе! все бы мутить, все бы изгадить.

– Да кончите же, папенька, что вы хотели сказать мне?

– Да вот все она – эка проклятая баба! слова не даст сказать; все бы ругаться да лаяться, прости господи мое прегрешение!

– Ну, что-то еще будет? – сказала наконец Марья Ивановна, – ну, продолжай, продолжай, свет мой; скоро ли все это кончится?

– Я говорю правду, истину говорю – ни в грош меня не ставишь, сударыня, в бога не веруешь.

– Да, да, ну, нет ли еще чего?

– Обо всем дашь ответ на том свете, богомерзкая баба, за все заплатишь. Ты, чай, ждешь не дожدهшься моей смерти... я тебя насквозь вижу; да вот и умер бы, да назло тебе буду жить, да и тебя еще похороню.

– Объясните хоть вы мне, Марья Ивановна, – сказала я, – зачем меня сюда призвали, чего хотят от меня?

– Ах, милая! видишь ли, что у папеньки есть нужные дела, дай же ему отвести душу, а мы с тобой еще подождем, еще успеем.

– Ну, говори, говори, проклятая! вишь, у тебя язык-то чешется, вся в отца, сейчас видно подлое семя.

– Ну, кончил, что ли, ты, батюшка? все ли рассказал, отец мой?

Отец хотел было опять отвечать, но я его удержала.

– Добрый папенька, – сказала я, – ради бога, перестаньте; разве вы не видите, что это меня терзает?

– Вот только для тебя, Таня, право, только для нее, слышь ты, проклятая баба! ну, говори же, коли лучше меня умеешь.

Марья Ивановна начала.

– Вот, видишь ли, друг мой, – сказала она, – лета твои уж не детские, пора тебе и пристроиться, найти себе партию; да ведь тебе, я думаю, и самой хочется этого, плутовка! То-то вот – как ни мила девическая воля, как ни тепло под крылышком у папеньки и маменьки, а

все, чай, лучше, как своим-то домком?.. Так ли, голубушка Таня, а? Что ж ты не отвечаешь, друг мой?

Но я все еще как-то неясно понимала, что хотела она сказать этими словами, я чувствовала, что готовится что-то страшное, какой-то неожиданный удар, но я так мало до сих пор думала об этом, что, несмотря на всю ясность слов Марьи Ивановны, не могла себе определенно растолковать их.

– Я слушаю вас, Марья Ивановна, – сказала я, – только вы, кажется, еще не кончили?

– Нет, милая, да ведь это не долго будет... Так вот, видя, что ты в летаходишь, Игнатий Кузьмич и я... ведь я хоть и мачеха тебе, Таня, а все равно что родная мать бывает, и матери не заботятся так о родных детях, как я о тебе...

– О, я верю, Марья Ивановна, и благодарю вас за это.

– То-то же, друг мой, я и надеюсь, что ты не забудешь меня... Так мы вот думали, думали, какую бы для тебя приискать повыгоднее партию, чтоб прилично было девушке дворянской фамилии, ан вот жених-то и сам приискался...

– Жених? Мне? – сказала я и остановилась, как громом пораженная; я чувствовала, как вдруг застыла во мне вся жизнь, как вдруг порвались и исчезли все мои силы.

– Да, милая, вот и письмо, которое сегодня прислал к нам Николай Григорьич: он пишет, что уверен в любви твоей, Таня, <нрзб>... А от нас скрывала, плутовка?

И она улыбнулась; я взяла письмо и пробежала глазами, но не могла ничего понять из него, до такой степени в один миг оцепенели все мои способности, одеревенело все существо мое; я не чувствовала в эту минуту ни горести, ни отчаяния, как будто все умерло, кончилось во мне, как будто все превратилось в какую-то неестественную слабость.

– Что ж ты стоишь, милая? – сказала Марья Ивановна, – поздравляю тебя, друг мой; подойди же, поцелуй у папеньки руку, поблагодари его – ведь это он все так об тебе заботится.

Я не знаю, как это все сделалось, но я подошла и машинально поцеловала у отца руку, машинально также поцеловала в губы Марью Ивановну. Отец даже что-то сказал мне, как будто вроде родительского благословения, но я ничего не поняла: я все думала о том, что это за странный рок, который так обидно забавляется судьбою моею и как будто в насмешку устраивает все так, что одна минута счастья влечет за собою целую бездну погибели и страдания.

Бессвязно долетали до меня приветствия и поздравления домашних, смутно слушала я слова Марьи Ивановны: "Смотрите, как довольна, говорить не может от радости, а нам ни полслова, плутовка! Да уж бог с тобой: была бы ты счастлива, была бы ты весела, а нам, старикам, пора и на покой! Так ли, друг мой?"

Наконец и он подошел.

– Позвольте вас поздравить, Татьяна Игнатъевна, – сказал он.

– С чем, Андрей Павлыч?

– С началом новой жизни; ведь вы с завтрашнего дня будете объявлены невестой.

– Ах, да, а я и забыла; благодарю вас, Андрей Павлыч, благодарю за участие.

И он еще хотел что-то сказать мне, но не мог, потому что в продолжение целого дня Марья Ивановна не отступала от меня ни на шаг. Что же хотел он сказать мне?

Не знаю, как добила я этот несчастный день; насилу-то оставили наконец меня одну, насилу могу я запереться в своей комнатке. Говорят, будто завтра приедет жених, и мне приказано пораньше заснуть, чтоб быть свежее и веселее... а я больна и, может быть, вовсе не встану с постели!

Господи! где рука твоя, где твоя благодать? Я умираю, я гибну, я поневоле подниму на себя руки, если все это не кончится! потому что нет мне больше силы терпеть, потому что терпенье – бесплодная добродетель, над которою смеются, в которую бросают камнями! Пусть же покажет оно лицо свое, пусть явится оно, давно желанное провидение, когда нужна его

помощь, потому что тут нечего ждать, нечего медлить, надо скорее спешить на помощь, потому что одна минута промедления будет стоить целой жизни человеку!

Уж скоро будет неделя, как Гуров объявлен моим женихом и почти безвыездно живет у нас. Нельзя представить себе того мученья, которое я терплю все это время: целые дни он, как тень, ни на шаг не отходит от меня, целые дни твердит мне о своей любви, о симпатии душ, читает свои стихи, спрашивает у меня советов, и когда я молчу, потому что действительно не знаю, что отвечать на его вопросы, он жалобно, почти со слезами, говорит мне: "Что ж вы ничего не скажете, Татьяна Игнатьевна? или вы равнодушны к моему чувству, или вы не любите меня, друг мой?"

Если б он знал, какая горькая для него истина заключается в этих невольно высказавшихся словах!

И как будто нарочно, Нагибин постоянно оставляет нас одних, чуть только есть маленькая возможность ускользнуть ему от меня!

Отчего же не могу я любить Гурова? отчего он жалок мне? отчего его любовь кажется приторною, переслащенною, его предупредительность надоедает мне? И действительно, в нем совершенно нет никакого внутреннего содержания и слишком мало образованности, начитанности, чтоб хоть сколько-нибудь заменить этот недостаток, так что в одну минуту, в одном разговоре, он так вполне всего себя выскажет, что более ничего не остается и знать об нем. А между тем любовь именно и живет этой неизвестностью, именно в том и обаяние ее, что беспрестанно думаешь, будто вполне извела всю душу, всю жизнь любимого человека, и беспрестанно открываешь в нем новые стороны, новый неисчерпаемый источник для изучения... До тех только пор и живет страсть, покуда она еще не вполне удовлетворена, покуда еще остается ей желать; тогда только и возможна она, когда пробуждают ее от полузабытья ее, заставляют быть деятельною, предприимчивою.

Ничего этого в Гурове нет; он как будто не понимает этого необходимого закона любви, как будто не сознает, что любовь нужно поддерживать, подстрекать, иначе она умрет, зачахнет при самом своем рождении – могу ли же я любить этого человека?..

А между тем странное дело! каждый день собираюсь я высказать ему все это, разуверить его – и никак не могу решиться, и едва соберусь с духом и хочу говорить – не могу, язык немеет, слова, как нарочно, не являются на мысль, и поневоле откладываю попытку до другого раза. А другой раз опять та же история! однажды даже я довольно твердо сказала ему: "Николай Григорьич, мне нужно откровенно поговорить с вами", – а между тем и сама не понимаю, как это сделалось, заговорила совсем о другом – о погоде, о стихах и все по-прежнему осталось в положении неизвестности.

Хоть бы кто-нибудь дал мне совет, помог мне выйти из этого тяжелого положения, а то, право, я так запугана так оробела, что и под венец меня поведут, а я ни слова не вымолвлю! Один человек мог бы разбудить меня, одним словом мог бы разрешить все мои недоумения, но он не хочет сказать это слово, он сам так нерешителен, что за ним бы надобно приставить няньку, указывать ему каждый шаг, чтоб он не споткнулся и не упал. И вот мы оба страдаем, оба мучимся, потому что давит нас какой-то тяжкий кошмар, который оковал все жизненные силы наши!

И отчего он так чуждается меня? отчего так заботливо избегает моих взоров? зачем, к чему все это, боже мой? Зачем не объясниться, не сказать раз навсегда, что нужно забыть эту несчастную любовь, что она ни к чему не ведет, что ее нет? По крайней мере, я знала бы, чего мне держаться; я не надеялась бы! А то – и да и нет, и люблю и не люблю – бог знает, что это за страдание!

Боже мой, боже мой! ужели же эта минута, в которую мы оба так вполне, так совершенно были счастливы, не оставила после себя никакого следа? ужели все это упоение, все это сча-

стие было только обманом расстроенного воображения, а на самом-то деле все оставалось по-прежнему темно, холодно, пусто?..

С какою невыносимою грустью перечитываю я те страницы дневника, где я описывала свое счастье! И что за безумие было думать, что может выйти что-нибудь путное из этой большой любви, и можно ли быть таким ребенком, предаваться таким детским, несбыточным мечтам, зная эту неестественную слабость, это страшное отсутствие всякой энергии!

А я уж было совсем устроилась в этой тихой, уединенной жизни и так хорошо распорядилась ею, распределила каждую минуту ее, ничего не оставила, ничего не забыла: и был у меня тесный кружок друзей, были дети... какое безумие, какое простодушие! Я сама была ребенком, когда мечтала об этом, когда так искренно предавалась увлекавшей меня волне счастья!

Но я узнала теперь всю глубину этой позорной, постыдной безжизненности! Сегодня улучила я наконец минуту, когда Гуров говорил о каких-то делах с отцом, чтоб объяснить с Нагибиным.

Он сидел один в беседке и так углубился в чтение какой-то книги, что и не заметил сначала, как я вошла и села подле него.

– Насилу-то я вас поймала, Андрей Павлыч! – сказала я, – вы, право, сделались как-то неуловимы с некоторого времени. Думаешь, вот улучила наконец минуту, вот поймала – смотришь, а вас уж и нет! вы или с отцом говорите, или около детей; какая на вас напала вдруг странная охота распространять просвещение!

Он смутился и ничего не отвечал; видно было, что такое неожиданное нападение мучило его, и он ждал только случая, чтоб снова ускользнуть из рук моих.

– Что ж это вы бегаєте от меня? что вы всякий раз опускаете глаза, когда я смотрю на вас? с которого времени сделалась я так страшна, Андрей Павлыч? с которых пор мое присутствие так тяготит вас?

– Да я никогда не избегал вас, Татьяна Игнатьевна, – проговорил он, запинаясь на каждом слове, – я боялся помешать вашему счастью.

– Моему счастью? позвольте узнать, с кем это? Это очень любопытно!

– Да с Николаем Григорьичем!..

– А, с Николаем Григорьичем! Скажите пожалуйста... Я и не подозревала!.. Так вы боялись помешать моему счастью? Какой вы, право, добрый, Андрей Павлыч!

И я посмотрела на него, ожидая ответа, но он опустил глаза в землю и молчал.

– И долго вы намерены продолжать свое доброе дело, долго вы намерены меня мучить? Объяснитесь ли вы, наконец? будет ли когда-нибудь предел вашим сборам? а?.. Да скажите же что-нибудь, Андрей Павлыч!

– Право, я не знаю, чего вы требуете от меня, Татьяна Игнатьевна.

– Чего я требую от вас, чего я хочу? Ах, боже мой, и вы до сих пор не догадались, бедное, невинное дитя! Да я требую от вас вашего же собственного счастья, я требую, чтоб вы сбросили с себя эту искусственную мертвенность, которою вы сами сковали все чувства свои, я требую, чтоб вы ожили!.. И вы спрашиваете, чего я хочу; а я столько раз говорила с вами об этом – и вы до сих пор не догадались!.. Полноте, Андрей Павлыч, зачем же так открыто, так грубо лгать?

– Да коли это невозможно, Татьяна Игнатьевна, коли все, что вы хотите истребить во мне, так тесно слилось с моею природою?..

– А кто вам сказал, что мертвенность есть принадлежность вашей природы? Ведь вы же сами выдумали это, Андрей Павлыч! А если вы так легко могли себя уверить в этом, то точно так же можете уверить себя и в противном – ведь это так мало стоит для вас, которые действуете только по указаниям рассудка, ведь вам стоит только слово сказать этому непогрешающему судье – он, право, такой добрый, такой благонамеренный в искусных руках ваших, что мигом разобьет в пух и прах все это шаткое здание убеждений и доказательств, которое еще за минуту с таким жаром отстаивал.

– Ах, Татьяна Игнатьевна! зачем же смеяться над тем, что составляет и счастье и несчастье, и славу и позор человека?

– Скажите просто – несчастье и позор. Зачем тут примешивать славу и счастье?

– Затем, что оно так на деле, Татьяна Игнатьевна; затем, что я не могу жить иначе, нежели живу, рассуждать иначе, нежели рассуждаю. Коли хотите, я первый соглашаюсь с вами, что рассудок и один рассудок – это односторонне, это неполно, да в таком-то полубытии, в таком-то противоречии рассудка и жизни и заключается источник всего моего счастья и всего моего несчастья. Разве я виноват хоть сколько-нибудь в этой односторонности? разве я виноват, что рассудок мой противоречит чувству, а не умеряется им?.. ведь меня не спрашивали, какие условия жизни желал бы иметь я, когда родился я на свет; мне заранее дали уже готовые условия, готовую середину, для меня же собственно предстоит только одна забота – забота, как приспособить жизнь свою к этой односторонности, как вынести из нее возможно меньшую сумму зла.

– И вы... устроились, Андрей Павлыч?

– Да; по крайней мере, я старался...

– Верно, вы много старались, что так блистательно успели в этом?.. и вы довольны собою?..

– Кто же вам говорит, Татьяна Игнатьевна, что я доволен своим положением? зачем приписывать мне мысли, которых я никогда не имел? И не доволен, да будь доволен – что ж с этим делать?

– Да, в самом деле, делать нечего. Ну, и односторонность-то эта – кто же в ней-то виноват, Андрей Павлыч?

– Ах, боже мой! да как же мне объяснить вам? это так уж есть, это в воздухе.

– Следовательно, уж и помочь этому нельзя, стало быть, нечего и говорить об этом! Так, что ли, Андрей Павлыч?

Он задумался и долго не отвечал мне.

– Да что ж делать, что предпринять мне? Научите меня, Татьяна Игнатьевна, если можете! Чем же виноват я, что беспрестанно ускользает от меня эта середина, которой я добиваюсь? что ж делать, если нет другого выхода – или быть вечным юношей или преждевременным стариком, или сжечь и разрушить, или оледенить и заморозить все...

И он сказал это с видом такого глубокого отчаяния, что слышно было в звуках его голоса, как тяготило его самого это безвыходное противоречие; но я как-то зла была в эту минуту, я чувствовала потребность вылить наружу всю желчь, которая мало помалу накоплялась в сердце моем.

– Итак, решительно нет для вас никакого спасения, Андрей Павлыч? – сказала я.

– Нет, решительно нет; по крайней мере, я не вижу, – отвечал он более спокойным тоном, – это необходимо, и я должен покориться закону необходимости.

– Необходимость? И, полноте, Андрей Павлыч! может быть, на вашем языке это так зовется, а попросту-то, знаете ли, как называется подобный закон?

– Позвольте узнать, – сказал он, насмешливо улынувшись.

– Да просто, трусостью.

– Что ж, коли хотите, я с вами не совсем несогласен...

– А! вот как!..

– Да, потому что дело не в слове, а в понятии, которое оно выражает.

– Стало быть, вы просто трус, Андрей Павлыч!

Он смутился; но это смущение было так мгновенно и так быстро уступило место самому твердому спокойствию, что нужно было взглядываться в его лицо с таким напряженным вниманием, с каким я взглядывалась, чтоб заметить эту краску, которая на одну минуту показалась и скрылась на щеках его.

– Коли хотите, – сказал он, – есть разница между обыкновенным трусом и человеком нравственно обессиленным вследствие горестного сознания невозможности и даже неразумности борьбы с необходимостью. Впрочем, если вам непременно угодно, чтоб я был трусом, я и на это согласен.

– Итак, все кончено между нами, Андрей Павлыч, и мне нужно будет выйти замуж за Гурова?

– Ах, боже мой! право, я не знаю! Как же я могу что-нибудь сказать вам за или против?

– Да нет, скажите, мне нужно. Чего же ждать? чего жалеть?.. уж лучше разом кончимте разом, Андрей Павлыч! Это последняя моя просьба; вы будете спокойны, я не стану вам больше надоедать...

И я чувствовала потребность выйти из этого тягостного положения, разрешить хоть чем-нибудь эту неизвестность, а вместе с тем желала отдалить приближение роковой минуты и как смерти ждала и страшилась его ответа.

– Ах, чего вы от меня требуете, Татьяна Игнатьевна! – сказал он, спустя несколько секунд, – в свою очередь, спрошу я у вас, – неужели вы из всех моих разговоров ничего не поняли? неужели ваше чувство так закрыло глаза вашему рассудку, что вы не видите, что меня мучит, какой червь гложет мое сердце?..

– Так вы меня любите? – спросила я.

Он молчал.

– Что ж, не любите вы меня, Андрей Павлыч?

Но он опять не отвечал на мой вопрос; наконец мне не стало более силы, глухое рыдание невольно вырвалось из груди моей, и, едва удерживаясь на ногах, вышла я вон из беседки. Я видела, что он как будто сделал движение, чтоб удержать меня, видела что он также встал со скамейки; но когда, прошедши несколько шагов, я обернулась, он уж по-прежнему сидел на месте и читал свою книгу.

Итак, вот конец всем моим предположениям! Итак, мне нужно выйти замуж за Гурова, нужно покориться закону необходимости! Право, так! ведь это он сказал, это слова его! Что ж! покоримся ей; пусть будет она помыкать нами, если мы сами ничего не можем, если мы простые марионетки без души, без воли, без чувства! И как легко будет жить потом – надо только убить, заморить всякую искру чувства, уничтожить сознание бытия, а потом даже и рассуждать ненадобно, только вовремя поднимай руки и ноги, вовремя кивай головой и проч., а там все само собою устроится! Что за чудная, что за спокойная жизнь!

И грустно смотрю я на эти строки, которые каких-нибудь десять дней назад писала рука моя, диктовало полное упоения и радости сердце... и всё мне хочется вычеркнуть их, вырвать и бросить куда-нибудь дальше, чтоб не напоминали они мне моего улетевшего счастья! И к чему вы теперь, дорогие, полные благоуханной любви, строки? Оно уж прошло и не возвратится никогда, это волшебное время любви, и по-прежнему стонет и ноет мое бедное сердце, и по-прежнему раскрылись едва зажившие раны его!

ОТ НАГИБИНА К г. NN

Знаю я, что советовать в этом деле постороннему человеку нельзя, что лучшие тут советчики – собственный рассудок и обстоятельства; коли хотите, скажу вам даже, что я и не послушал бы ваших советов и по-прежнему оставался бы в нерешимости, по-прежнему бы висел на воздухе. Что ж прикажете делать? бывают обстоятельства, которые приводят человека в положение такого странного оцепенения, что он, как будто чувствуя, что никакая внутренняя сила не в состоянии разбудить его, по невольному инстинкту ищет, чтоб что-нибудь внешнее вызвало его из этого несносного страдания, жалуется на свое положение, просит советов, хоть знает, что никакие советы не могут иметь тут силы.

В таком именно положении находился я, когда просил вас помочь мне; в таком положении, если еще не в худшем, нахожусь я и в настоящую минуту. Я убит, я не в состоянии не только действовать, но и рассуждать; я решительно ничего не понимаю, что я, наконец, такое, к чему я, зачем я, как будто бы назло и себе и другим существую!

Вообразите себе человека, умирающего от голода. Бледный, едва укрытый лохмотьями своего рубища, лежит он на голом полу и издыхает, как никому не нужная собака, в предсмертных конвульсиях; в двух шагах от него рассыпаны бесчисленные соковокиса, в двух шагах от него проходят люди с веселием и песнею на устах; но он ничего не видит, не видит, что у него есть все под рукою, чтоб утолить голод, не оскорбляется слух его веселием ликующей толпы, равнодушно смотрит он, равнодушно прислушивается ко всему, как будто не его и дело, как будто не о нем и речь идет. Он создал себе свой особый кумир; ему с детства вбивали в голову, что это так есть, что иначе и быть не может, одному жизнь, другому смерть, и он не противится, он скорей согласится умереть с голода среди довольства и роскоши, но не осмелится оскорбить свой кумир. Идет мимо прохожий и говорит ему "Безумный человек! зачем же непременно хочешь ты умереть, когда все зовет тебя к жизни? посмотри, оглянись вокруг себя! перед тобою, как перед законным властелином, земля разверзает недра свои; тебе лучшие дары, лучшие силы ее; на тебя рассыпает солнце лучшие лучи свои; перед тобою склоняется вся природа, ты все имеешь, все, что может составить счастье и наполнить жизнь человека! встань и живи!" И светлая мысль озаряет на минуту мысль бедного страдальца, и хочет он встать, и хочет жить, и усиливается подняться на ноги, и медленно простирает изможденную руку... Но, увы! тщетны все усилия его – он чувствует, как гнездится уж смерть в окостеневшем сердце его, как крадется и ползет она, как змей, по всем жилам его существа; вот уже коснеет язык его, вот помутился и померк умоляющий взор, вот и весь он вздрогнул и вытянулся – и все стихло и смолкло вокруг него, и слышится только неведомый, но страшный голос, говорящий над ним: "Смерть ему, слабому, неразумному слепцу, ибо многое было дано ему, и от всего добровольно отказался он, сам потушил в себе свет разума, данный ему природою, и осудил себя на вечную ночь, на вечную тьму!"

Не таково ли же точно и мое положение, друг мой? не умираю ли я от апатии и равнодушия среди жизни и любви, как тот несчастный от голода – среди довольства и пресыщения? И я чувствую, что умираю, чувствую, что эта неестественная борьба рассудка и жизни втягивает в себя, как в бездонную пропасть, лучший сок моего существа, и добровольно сознаюсь, что и мне, как тому несчастному слепцу, можно сказать. "Безумный! тебе дано было много, и ты от всего отказался, над тобою сияло в вечной красоте своей светлое солнце, но ты укрылся от лучей его и предпочел им тьму и холод сырой пещеры; вокруг тебя ключом била и блестела вечно юная, вечно неувядающая жизнь; но ты отвернулся от нее, ты проклял все, что носило на себе печать жизни, ты создал себе свой особый мир, который наполнил порождениями своего мнительного рассудка, и заперся от всех с этими холодными, мертвыми призраками; ты

всю жизнь свою исповедовал одну только доктрину, доктрину смерти. Безумный! опомнись; не время ли перестать возиться с фантомами? не время ли начать новую жизнь?"

Чувствую всю правду этих слов, желал бы возвратиться снова к этой жизни, полной пред-
рассудков, но вместе с тем обаятельной по полноте юношеского увлечения, по доверчивости к самой себе, которые сопутствуют ей; но уже поздно, потому что слишком забит во мне этот страстный огонь юности, слишком огрубела и затвердела кора сомнений и противоречий, которая давит и гнетет мое сердце.

Помните ли вы, в одном из моих писем я упрекал вас в идеализме, в непонимании действительности? Я говорил вам, что вы, с своим всеобщем, всевосполняющим законом любви, которому хотите подчинить все сущее, создаете себе призраки, которые мешают вам бодро и смело взглянуть в глаза действительности, разобрать одну за одну все сокровенные, стихийные части ее. Как подумаю теперь и обсужу это дело по совести, то все эти упреки едва ли не более относятся прямо ко мне, нежели к кому-нибудь другому, потому что я целую жизнь свою гонялся за действительностью, целую жизнь объяснял ее себе, без отдыха преследовал этот необъяснимый феникс, беспрестанно исчезающий и беспрестанно возрождающийся, и не мог объяснить, не мог понять его. Коли хотите, и я понял действительность, да только в исканиях-то своих немного ошибся в расчете и, вместо того чтоб итти прямым путем, взял немного вкось, может быть, вправо, может быть, влево – только действительность-то моя вышла совсем другая, нежели действительная действительность и вышло, что я тоже создал себе воображаемый мир, в котором все устроил по-своему, а теперь и жалею, что мне тяжело жить, что я, как Вечный жид беспрестанно преследовал и старался постичь жизнь, и все-таки пришел к одной смерти. И с горечью вспоминаю я, как некогда воображал себе, что я человек воли, человек действия... вздор, мечтание все это, друг мой! для того чтоб действовать, нужно иметь страсти, нужно иметь крайности, предрассудки, а у меня давно уж и следа нет ни того, ни другого, – я так много уничтожил, до такой степени все разоблачил и обнажил, что ничего не оставил себе на забаву и утешение, и хожу один-одинешенек среди этого всеобщего разрушения. Да, мои силы до того парализованы, что я могу только созерцать, могу только наблюдать за жизнью, но не жить; сознание свободной, естественной жизни до того полно во мне, что оно ослепило меня своим блеском, поглотило собою все существование, и я, как пораженный, остановился перед величественным образом мною самим вызванного из праха мира и до того забылся в этом оцепенении, что бесплодное созерцание жизни принял за действительную жизнь.

Право, иногда так горько, так жутко приходится, что я невольно помышляю о смерти. И в самом деле, если рассуждать хладнокровно, кому я нужен, какую могу я принести пользу? Наконец, если даже отложить в сторону общество и людей, если даже совершенно заключиться в одном своем эгоизме, то для себя-то собственно что могу я сделать? не представляется ли мне жизнь скорее нестерпимым игом, нежели радостью и благом? Потому что, если хотите, я и теперь ведь не живу, и теперь я мертв, только эта смерть медленная, мучительная, минута за минутою отравляющая человека: не лучше ли же разом покончить с собою, нежели это тихое, систематическое самоубийство? И на это-то вовсе не надобно особенной силы духа, и я вовсе не хочу выставить себя героем, выказывая вам эту мысль. Откровенно скажу вам: геройство, по-моему, вещь подозрительная, вещь столько же несуществующая, как и трусость. Всеми нами управляют обстоятельства, все мы не что иное, как послушные и покорные рабы необходимости, и поэтому величайший герой делается трасом в таких обстоятельствах, где трус делается величайшим героем: все зависит от характера самого обстоятельства, от развитости человека, от положения его в обществе. В наше время для того, чтоб прослыть трусом, нужно иногда гораздо более храбрости, нежели для того, чтоб хладнокровно подставить под пулю свой лоб, когда того непременно требуют условия общественной жизни. Итак, тут на самом деле нет с моей стороны ни трусости, ни храбрости, а есть просто сознание невыносимой тяжести и даже нелюбимости жизни при известных условиях. Может быть, и даже вероятно, что

я и ошибаюсь; но в иные минуты нельзя рассуждать хладнокровно, в иные минуты здравый рассудок как будто назло оставляет человека, а это именно большею частью тогда и случается, когда он всего более нужен. Вы скажете мне, быть может, что жизнь благо, данное нам природою, благо, которым мы не можем располагать; что каждый из нас имеет свое назначение, которое он должен выполнить?.. Знаю я все это и первый сознаю справедливость таких доводов, но ведь вы забываете при этом – обстоятельства, а они-то и управляют нами, они-то и делают так, что все эти прекрасные мысли как-то исчезают при одном приближении гнетущей действительности.

Что же касается до назначения, которое каждый из нас имеет, то я вам скажу, что большая разница между «имеет» и «должен иметь». Говоря а priori, каждый из нас действительно имеет свою особую, ему одному только свойственную роль, которою он должен выполнить в жизни, роль, с невыполнением которой решится чудная гармония стройного общественного целого; но присмотритесь ближе к этой беспрестанно движущейся, нестройной массе людей, и вы убедитесь, что все эти назначения как-то странно перемешались, что тот, кому природа, казалось бы, дала все, чтоб быть великим мыслителем великим государственным человеком, в действительности тачает весьма дурные сапоги или управляет с козел измученною парою лошадей; вы увидите, что некоторые забрали на свою долю слишком много назначений, а другие вовсе остались без всякой определенной роли, живут со дня на день и клянут ту несчастную минуту, в которую увидели они свет. Вот этим другим-то – а их очень много – что ж остается делать, если они притом еще сознают эту неуместность, всю ненужность их жизни?..

Когда-то мне рассказывали, или я читал где-нибудь, что жил на свете человек, который умер от одного того, что потерял свою тень; если в подобном случае возможна смерть, то тем более возможна она, когда человек не находит смысла и цели жизни, когда человек вдруг узнает, что он обронил где-то или у него украли его назначение, что будет несколько поважнее потери тени.

Обращаясь лично к себе, я нахожу такую странную дезорганизацию во всем существе своем, что с ужасом отступаю от своего будущего, которое обещает мне только горестный ряд преследований и лишений, лишений ничтожных и мелких, если хотите, но тем не менее беспрестанных и безотвязных, от которых никакая сила не освободит вас, с которыми нельзя бороться – до того они неуловимы, до того ничтожны. Еще если б меня ждало какое-нибудь сильное несчастье, какое-нибудь явное, наглое преследование со стороны судьбы, это вызвало бы, по крайней мере, мои дремлющие силы, это очертило бы передо мною особую сферу, в которой я мог бы действовать, мог бы, наконец, чувствовать, что я живу; но нет: меня ждут умеренность и аккуратность, две большие добродетели, коли хотите, но в которых скорее слышится отрицание жизни, нежели жизнь. Да, я глубоко, сознательно несчастен, несчастен тем более, что даже имею достоверность, что нет выхода, нет спасения мне от гнетущего меня страдания, что я заперт в каком-то сказочном доме без дверей и окон, и не проникнет никогда в эту холодную темницу радостный луч солнца надежды.

Но более всего сокрушают меня непрошенные сожаления, непрошенные советы переменить, сбросить с себя искусственную будто бы мертвенность, которою я оковал все существо свое. Искусственная мертвенность! Да, коли хотите, она искусственна, и во всяком случае не нормальна: разве я стою за это? разве я говорю противное? Да назовите мне, ради бога, хоть что-нибудь, что было бы не искусственно, назовите хоть одно отношение, хоть одно побуждение, за которое можно было бы поручиться, что оно нормально! Дело в том – и этого никак понять не хотят, – что на свете искусственность одна только и натуральна, а естественность, напротив, совершенно неестественна, тысячу раз повторял я, что человек сам по себе ничто, пустое отвлечение, покуда не выразится во внешности, которая, как масса живая и деятельная, в свою очередь обуславливает его действия; тысячу раз говорил я это, да меня понять не хотят, убеждают переделать себя, быть иным... Такие несносные увещания терплю я каждый день со

стороны известной вам особы, и, признаюсь, это начинает меня наконец тяготить! Надо вам сказать, что намерения Гурова на Таню вовсе не были шуткой, как мы предполагали, а выразились весьма обстоятельно в форме пламенного письма, которое он адресовал, как человек смысленный по-своему и понимающий все значение власти родительской, на имя дражайшего Игнатия Кузьмича. Дело в том, что Гуров и Таня помолвлены так неожиданно, так внезапно, что бедная совсем потерялась и оробела: беспрекословно и машинально дала она свое согласие на этот брак, потому что не знает, что ей делать, не знает, чего держаться, не уверена, буду ли я в состоянии представить ей надежную опору в случае ее сопротивления. Конечно, я чувствую, что и в этом случае виноватый, хотя и безвинно, один только я; но что ж делать мне? На днях она требовала от меня, чтоб я решительно, без оговорок, сказал ей, люблю я ее или нет. Скажите же на милость, не мучение ли это! Ведь она довольно меня знает, чтоб понять, что и без того я страдаю от неопределенности своего положения, что это-то и составляет кошмар моей жизни – а между тем хочет, чтоб я решительно объяснился! Да что ж я могу сказать ей? Что я ее люблю – и это будет верно, что я не люблю ее – и это справедливо! Она никак не может предположить себе возможность современного существования столь противоположных крайностей, не может понять, что если я и действительно люблю ее всеми силами души, то тем не менее сознание неразумности этой любви, при наличных условиях жизни, так сковало меня, что я стою, как пораженный громом, и желал бы отдаться влечению своего сердца, и не смею противиться слишком ясным указаниям рассудка. Любовь-то, коли хотите, во мне есть, но она не может выйти из пассивного своего состояния; она всегда останется на степени понятия чисто нравственного, отвлеченного.

Но вы мне скажете, может быть, что и сами видите тут необъяснимое противоречие – да разве я отказываюсь от этого? разве я называю это гармонией? В том-то и дело, что противоречие это необходимо проистекает из самой природы вещей, оно *действительно* есть и, следовательно, напрасно стал бы я противиться такому порядку вещей: он есть, и этого уже достаточно для оправдания его! А между тем, ведь есть же люди, которые упрекают действительность в неестественности и, наконец, изъявляют наивное желание, чтоб она исправилась, чтоб вела себя лучше, как будто она может сделаться иною, нежели какая она на самом деле!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.